

Я НЕ СУЛЮ ТЕБЕ РАЯ

АНВЕР БИКЧЕНТАЕВ



Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, бросать и начинать снова, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость.

Лев Толстой

1

— Понятно, мама, — недовольно повторяю я, бережно снимая со своих плеч ее руки. — Ну хватит, мама! Не маленький же... Неужели не понимаю?

Все мамы, по-моему, сентиментальны... К расставанию она заготовила ворох всевозможных наставлений. На все случаи жизни.

А если как следует вдуматься — советы для семилетних. Мама, пожалуй, упустила из виду, что в феврале месяце, двадцать второго числа, мне стукнуло восемнадцать, я на целую голову выше ее ростом. «Мама, опомнись!» — хочется мне крикнуть, но я сдерживаю себя — выдержка, прежде всего выдержка в такую торжественную минуту. Пожимая ее ласковые, холодные, еще совсем молодые руки, я осторожно произношу:

— Только без слез!

Даже в этот поздний час нестерпимо душно. Днем температура взметнулась за тридцать, до сих пор платформа источает зной, трудно ды-

шать, а руки мамы точно кусочки льда; бывало, когда у меня поднималась температура, одно их прикосновение снимало жар.

Не знаю, что бы мне еще пришлось выслушать, но выручает дежурная, та, что распоряжается по радио:

— До отхода поезда номер шестьдесят девять остается пять минут, — напоминает она. — Граждане пассажиры, просим занять места согласно билетам...

Это относится непосредственно ко мне. Шестьдесят девятый — мой поезд.

Но мама все еще не может привыкнуть к мысли, что я уезжаю.

— Про друзей ты уже говорила. Про девчонок тоже... И про выпивку. Ты повторяешься.

— Ну, если так...

Здесь очень кстати напоминает о себе мой спутник, некто Искандер Амантаев... Не то мамин знакомый, не то друг маминого детства, если не ошибаюсь. Впрочем, черт его знает, кто он такой. До сегодняшнего дня я видел его один-единственный раз. Но это неважно, видел его сто раз или один раз. Важно то, что он сейчас подошел и прервал затянувшийся инструктаж.

Амантаев отвлек ее, но я не стал слушать, о чем они говорят, меня это мало интересует. Мне надо попрощаться еще с Нимфочкой, моей давней подружкой. Пока мама изощрялась в наставлениях, Нимфочка стояла в сторонке, у соседнего вагона, ей, как я понимаю, не было никакого дела до нашей семейной идиллии. И она и мама делают вид, что не замечают друг друга, потому что моя Нимфочка — не мамин идеал. А на мой взгляд, Нимфочка — девчонка как девчонка.

У нее очаровательные глаза, а если она чуть покрасит ресницы, то с ума можно сойти! Курносых я терпеть не могу, у нее же носик правильный. Она сносно

поет и где-то там учится. Чего еще с нее, бедняжки, требовать?

Ну, допустим, подстригается под мальчишку, но ведь все девчонки нынче носят короткую прическу. Это скорее всего не причуда, а леность. Так я понимаю. С короткими волосами меньше возни. Нимфочке даже идет этот полумальчишеский вид. Вот и сейчас она в центре всеобщего внимания. И, ей-богу, заслуженно!

— Ты, Хайдарчик, у нас послушный, — говорит Нимфочка громко, в расчете на то, что ее услышит мама. — Честное слово, пай-мальчик! Смотри, не шляйся где попало и не дружи с кем попало.

Ишь ты, плутовка!

Только я вижу, что она втихомолку смеется одними глазами. Я, пожалуй, догадываюсь, чем в эту минуту занята ее каштановая башка. «Наперед знаю, — как бы говорят ее лукавые глаза, — тебя от силы хватит на две недели или, самое большое, на два месяца. Больше не выдержишь!»

Честно говоря, мой отъезд — мамина причуда. Мама, хорошая и наивная, хочет всей душой, чтобы я «хоть немножко пожил самостоятельно». Кто-то всерьез уверил ее, что стоит мне поработать на стройке или заводе и я сразу наберусь ума. Говоря честно, я не особенно-то в этом уверен.

— Будь умницей! — снова закричала на весь перрон моя Нимфочка. — Овладей профессией, каждый твой трудовой успех, даже малюсенький, бесконечно обрадует нас!

Подумать только, какая смиренница!

— Не дури, хитруша! — подмигнул я ей.

Она, плутовка, сразу бросила кривляться. Стала сама собой.

— Если вздумаешь вернуться, непременно телеграфируй, — прошептала она, подавая мне руку. — Так и быть, встречу!

Все-таки при маме не полезла целоваться, постеснялась.

Тут еще разок прошумела дикторша, и тотчас засветился зеленый светофорчик. Второпях я поцеловал девушку прямо в ее правильный носик, нечаянно, конечно. Когда спешишь, и не то сделаешь.

Поезд нехотя тронулся. Как-то щемяще застонал весь состав. Я еле успел бросить взгляд на маму: одинокая, в своем строгом синем платье, она прислонилась к зеленому, облезлому дощатому киоску, в котором продают залежалые конфеты, зачерствевшие бутерброды и теплую лимонную воду, и плакала.

Ох, не люблю я слез!

А рядом с вагоном вприпрыжку бежала моя верная Нимфочка и кричала во весь голос:

— А ты молодец, Хайдарчик!

— Не скучай, плутовка!

Я понимал: в том городе, куда я еду, ни за что не встречу таких девчат. От таких мыслей не развеселишься.

2

Уфа, белокаменная моя колыбель, неказиста только возле полотна дороги, — отсюда, кроме облепивших гору хибарок, ничего не видно. Уфа медленно проплывала мимо меня. Один за другим, как на экране, сменялись хорошо знакомые кадры: «Правая Белая», сама Белая, и, наконец, «Левая Белая». И вот тут-то

вдруг мне подумалось, что я уже никогда не вернусь по этим путям домой. Взбредет же такое в голову!

Во что бы то ни стало надо отвлечься. Это главное.

Возле соседнего окна примостилась дамочка. Она уже успела переодеться в бухарский халат, а может, и не бухарский, я в них ничего не понимаю. И меня потянуло заговорить с ней. Просто в эту минуту я нуждался в добром собеседнике.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Здравствуйте, — ответила она.

— Далеко ли едем?

У нас в доме, где я живу, обитает один отставной подполковник, артиллерист. Он любил задавать бессмысленные вопросы и толковать с людьми в самой неопределенной манере: «Ну-с, — бывало, говорил он нам, мальчишкам, — чего мы хотим? Куда стремимся?»

Мой вопрос — самый естественный, не правда ли? Однако моя собеседница рассердилась.

— Сама я не имею привычки расспрашивать незнакомых мне людей, — ответила она не грубо, но все же не учтиво. — Говорят, на свете есть народы, у которых любопытство считается злейшим пороком.

— В общем-то я довольно понятливый парень, — проговорил я, сознавая, что надо поставить точку. — Если говорить начистоту, мне глубоко безразлично, куда вы держите путь. Можете мне поверить. Я спросил потому, что у нашего народа это не считается злейшим пороком.

— В вашем возрасте нельзя так много пить, — проговорила дамочка по-прежнему не грубо, но не учтиво.

Она отвернулась. Уже не было никакого смысла продолжать разговор.

От нечего делать я стал смотреть в окно. Вдали, там, где остались нефтеперегонные заводы, полыхали таинственные зарницы. Глупо, конечно, обижаться на дамочку в бухарском халате, но все же не следовало ей обходиться со мной так круто. Даже жалко стало себя.

Я вернулся в купе, где Амантаев, мой непрошеный шеф, все еще стелил себе постель: аккуратненько расправлял каждую складочку простыни, неторопливо взбивал подушечку.

— Амантаев, как же ты меня будешь рекомендовать на комбинате, — поинтересовался я. — «Один мой хороший знакомый» или «мой родственник»?

Я с первой минуты знакомства стал говорить ему «ты». Пусть не думает, что он такая авторитетная птица. И ехать согласился не потому, что поддался на его агитацию, а потому, что не хотелось огорчать маму. Да и надоело слоняться без дела.

— Я еще не решил, что буду говорить, — ответил он, снимая галстук.

Он был идеально корректен, идеально аккуратен и идеально правилен. Серый галстук свой не бросил на стол, как это сделал бы я, а расправил и повесил на крючок.

— Все-таки тебе придется сказать обо мне всю правду, все как есть. Не так ли? — наседал я на него, будто именно он был виноват в том, что сейчас терзало мою душу. — Я должен предупредить честно: твой подопечный — парень никудышный. Во-первых, у него нет определенной специальности...

— Знаю.

— Во-вторых, характер просто невозможный...

— Хочешь сказать — редкий экземпляр?

— Ты убедишься в этом в самом скором времени. Кроме того, я не смышлен. Одним словом, несерьезный человек.

— Глупый, что ли?

Он спросил это самым серьезным образом.

— Не совсем, конечно.

Тут он позволил себе корректно улыбнуться. Он, между прочим, мастерски умел улыбаться!

— Да, задал я себе задачу, — проговорил он, затягиваясь дымом папиросы. — К тем великолепным качествам, которые ты сам успел в себе подметить, придется кое-что прибавить. Насколько я понимаю, ты любишь независимую позу и презираешь опыт человеческого общежития: «мы считаем, что чуточку разочарованы и море нам по колено...» Теперь, пожалуй, портрет моего «подопечного» завершен.

Я ждал от него чего угодно, но только не этой неприкрытой насмешки. Он не отрицал, что я — тяжелая обуза, внезапно свалившаяся на его плечи.

— После такой характеристики, черт побери, кто же согласится принять меня на работу? — спросил я, немножко сбитый с толку. — Не думаешь ли ты, что в самом скором времени тебе придется откомандировывать меня обратно, притом за свой собственный счет?

Я не скрывал, что разозлился. Мне хотелось вывести его из равновесия, хотелось, чтобы он прикрикнул на меня, сказал что-нибудь в таком роде: «Послушайте, молодой человек, неужели никто не научил вас, как надо вести себя среди людей, которые по возрасту годятся вам в отцы?»

Однако он не доставил мне этого удовольствия.

— Да, нелегко мне придется. Но об этом мы поразмыслим завтра. Утро вечера мудренее, — сказал Амантаев и спросил весело: — Стелить постель умеешь?

Такого голыми руками не возьмешь!

Натянув на себя простыню, отдающую сыростью, я потушил свет. Сейчас, вероятно, два часа ночи, если не больше, а в шесть тридцать утра, как сказал Амантаев, побудка. Надо заставить себя вздремнуть...

3

Поезд ползет мимо комбината, на котором мне предстоит брать «урок самостоятельной жизни». Ничего не скажешь, такого скопления заводов в одном месте мне еще не доводилось видеть. Башня на башне, резервуар на резервуаре, бесчисленные цехи. Если бы не пудовый камень на сердце, я мог бы воскликнуть:

— А ведь очень красиво, черт возьми!

Но я не произнес этих слов.

Искандер Амантаев, кажется, залюбовался комбинатом, хотя мог бы и не любоваться... Неужели ему не осточертело жить среди газов и дымов? Конечно, это так, только сознаться не хочет.

Неожиданно совсем рядом с железнодорожным полотном поднялся грозный факел, вслед за ним второй, но поменьше. Первый бушевал, подобно утренней заре, а второй тлел голубым, еле заметным огнем.

Я бы тут же и забыл о них, если бы не Амантаев.

— В самом скором времени, — задумчиво произнес он, — мы потушим эти факелы. Но сейчас мы сроднились с ними, они стали как бы частью города, да и частью комбината. Человеку присуще романтизировать окружающий его мир. Багровый факел я назвал для себя Марсом, а тот, второй, серебристый, — Луною...

Как разыгралась фантазия у моего шефа! Даже не верится, что он на это способен.

Чтобы позлить его, я заявил:

— Не разделяю восторга. Эти факелочки, как бы выразиться... напоминают мне бутылки с коньяком и со столичной водкой.

Он расхохотался.

— Умеешь образно мыслить. Вот не думал!

Я ни за что не смог бы угадать, как он поведет себя в следующую минуту. Такого человека, откровенно скажу, я еще не встречал.

У меня этой самой выдержки ни на грош.

Наконец как будто приехали.

Искандер Амантаев жил недалеко от вокзала, от силы три минуты ходьбы. Перешли скверик и — дома.

Как только переступили порог, он изобразил хлебосольного хозяина:

— Завтракать хочешь?

Я немного растерялся: неужели он прощает все мои выходки? Или просто-напросто решил не обращать на них внимания?

— Особого голода не ощущаю, — отмахнулся я.

— Как знаешь! — Амантаев усмехнулся. — Если захочешь вздремнуть, а это простительно после ночной дороги, то диван в твоем распоряжении. На все будущие времена! А мне пора на комбинат.

Он ушел. А мне не до сна. Разволновался. Храбрился для виду, что уж тут скрывать!

Чего доброго, могут отказать по всем статьям, не примут на комбинат, и точка. Что делать тогда? Покупать билет и в обратный путь? Откровенно говоря, не хотелось возвращаться так скоро.

В первый раз за свою жизнь я попал в холостяцкую обитель. Забавно все-таки. Озоруя, я сказал себе: «Как

бы ты, Хайдар, обставил квартиру, если бы, допустим, ее отдали в полное твое распоряжение?» Раньше подобные мысли и в голову мне не могли прийти...

Письменный стол я оставил бы на месте. Только на стене, над столом, прибил бы карточку какой-нибудь кинозвезды. Скорее всего Быстрицкой. Я влюблен в ее глаза.

С кроватью я расстался бы, и с пуховиком тоже. Не переношу допотопный инвентарь.

В библиотеке провел бы чистку. «Попутные газы и тропные нефти Башкирии», «Учись хозяйствовать» — это я вышвырнул бы вместе с тощей брошюркой «Новая жизнь — новые традиции». Довольно с меня наставлений да нравоучений! Сыт по горло.

А вот откуда у него, у сухаря, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери? Не думал встретить «принца», честное слово. Между нами говоря, я в восторге от Экзюпери, особенно от его «Ночного полета».

И я спросил себя: кто такой Амантаев? Что я о нем знаю?

4

Сижу себе на массивной чугунной скамейке, каких тут немало, от нечего делать разглядываю комбинатских ребят и девчат и думаю: вот примут меня на работу и буду бегать, как и они, из дома в цех, из цеха в столовку и обратно. И так изо дня в день, минус воскресенье, из года в год, минус отпускной месяц.

А если не примут?

Я трудоустраиваюсь потому, что это нужно маме, а не мне.

Маяковский, как говорят, делил человеческую породу на две неравные части: на тех, кто пробегает перед автобусами, и на тех, кто спокойно ждет, пока автобус пройдет мимо. Впрочем, не ручаюсь, может быть, это не Маяковский говорил, а другой какой-нибудь поэт.

Я бы нашу человеческую породу разделил по иному принципу: на думающих и на увлекающихся. Первое качество, очевидно, лучше, чем второе. Но еще, должно быть, удачнее, если ты сочетаешь оба эти качества. Наш класс, десятый «В», может, по-моему, гордиться: половина выпускников были одновременно и думающими и увлекающимися. Они сейчас строят Уфимский синтетический завод: махнули по комсомольским путевкам.

А сам я, полагаю, просто увлекающийся парень. Но не думающий. А может быть, совсем наоборот? Думающий, но не увлекающийся? Одним словом, чего-то во мне не хватает. Иначе я давным бы давно где-нибудь и что-нибудь строил.

Тут же я спрашиваю себя: разве я не пытался увлекаться? Конечно, пытался. Но мне просто не повезло.

Со мной, молокососом, очень круто обошлись в уфимской артели по производству кроватей и прочих скобяных изделий.

Наверно, нередко случается, что человеку не везет с первых же шагов. Другие как-то спокойно относятся ко всякого рода ударам судьбы, а я нет. Я легко ранимый парень.

...Эта банда до сих пор вот где у меня сидит. Родню, пожалуй, могу забыть, но пятерых хапунов из той артели — никогда. Хапуны официально именовались

«передовиками производства». Но какие же они передовики? Вовсе они не передовики.

Норму завышать — не смей! Перевыполняй план с оглядкой, до известного предела. И весь этот милый сброд норовил оттянуть выпуск продукции на конец месяца, а там — не зевай, почем зря вкручивай сверхурочную!

Вижу — форменный грабеж государства. Терпел я месяц, второй, третий. А потом терпенье лопнуло. Подступаюсь к мастеру и говорю:

— Даешь мне работу аристократов или нет?

— Прошу прощенья, — отвечает мастер. — Если настаиваешь, пожалуйста.

— Во всяком случае, две нормы будет, — пообещал я.

Мое предложение ему не понравилось, но перечить не стал.

— Доказывай свою правоту, — сказал мастер. — Иными словами, соревнуйся.

Верно, двух планов я не одолел, но полторы нормы дал. Хапуны, между прочим, намекнули мне, чтобы остепенился. И, понятное дело, стали мешать. То инструмент терялся, то появлялся брак. Не мой, конечно, но пришивали мне.

Я пошел к бригадиру.

— Я что? — он пожал плечами. — Я человек маленький.

Мастер у нас был рассудительный.

— У ребят семьи, — пояснил он. — Сам должен понимать.

Позже появилась заметка в газете — хапуны остались передовиками производства, а я оказался бузотером и демагогом.

Кинулся в райком комсомола, обещали разобраться, но не разобрались. По-видимому, не сочли нужным прислушаться к сигналу «демагога и бузотера»...

Вот и вся история, если не считать того, что однажды какие-то незнакомые ребята намяли мне бока. Просто, без всяких причин...

Вот и вышибли из седла. С тех пор у меня камень там, где по всем правилам должно биться человеческое сердце. Наверное, из таких камней может образоваться стена. Тогда попробуй-ка эту стену прошибить...

Мать пыталась меня утешить.

— Тебе просто не повезло, — сказала она. — Это частный случай. На свете много прекрасных людей, особенно среди нашего брата — трудового человека.

Но разве мне легче оттого, что хороших людей больше, чем плохих? Я вас спрашиваю...

5

Именно тут, на чугунной скамейке, я условился встретиться с Амантаевым. Наверно, я приехал чуточку раньше. Тут уж винить некого.

Управление комбината размещалось в двух больших зданиях, соединенных аркой и окрашенных в яркий лимонный цвет. Я бы ни за что не сказал, что у человека, выбравшего такую краску, великолепный вкус. Скорее всего наоборот.

Мое внимание привлекли двое мужчин. Они остановились совсем близко от меня, шагах в десяти. Один из них, высокий и смуглый, смахивал на цыгана. Пышные усы были лихо закручены. А второй, плеши-

вый пузан с помятым носом, в каких-то невероятных брюках, был на голову ниже своего друга.

— Баганай и Катук* в натуре! — невольно прошептал я. Захотелось даже подойти к ним и намекнуть, кого они мне напомнили.

Стоят Баганай и Катук, о чем-то оживленно болтают, и тут появляется еще одно действующее лицо. Девчонка с косичками сходит с трамвая и попадает прямо в общество говорунов. У нее в руках чемоданы, в каждой — по одному. Конечно, фанерные. Сначала я обратил внимание на ее косы — почти до колен, такие странные на фоне нефтехимического предприятия, потом на голые ноги в красных туфлях.

— Это и есть нефтехимический комбинат? — осведомляется девчонка.

Только тут говоруны замечают ее.

— Так и есть, — охотно отвечает тот, который смахивает на Баганая. — Нефтехимический.

— И вы оба тут работаете?

— И мы оба тут работаем. Не ошиблась, красавица, — благосклонно улыбается внушительный Баганай.

Он весь внимание. Двумя пальцами подкручивает кончики усов — то правый, то левый — и обольстительно улыбается.

— А почему тебя, красавица, наш комбинат вдруг заинтересовал?

— Я мечтаю устроиться на работу, — признается девчонка простодушно. — И не знаю как. Я ведь никогда и нигде еще не устраивалась.

---

* Баганай и Катук — образы народного творчества. В дословном переводе Баганай — столб, Катук — катушка.



— По чемоданам вижу, что не местная, — басит Баганай и опять эффектно улыбается.

Провалиться бы тебе!

— Из деревни я приехала, мы живем в горах, — смиренно вздыхает девчонка и неожиданно с какой-то отчаянной надеждой спрашивает: — А вы не могли бы пособить мне устроиться на работу?

Они, деревенские, сразу голову теряют, как только попадают в город, тем более если встречаются им дошлые парни.

Тут вмешивается в разговор коротыш, до сих пор молчавший. Я смотрю на его нос и говорю себе: «Ба! Одна-единственная складка на носу — и человек становится похожим на бульдога!»

— Почему же нельзя? Можно! — говорит он.

— Ты покуда помалкивай, — останавливает его Баганай. И, повернувшись к девчонке с косичками, добавляет: — Устроим, о чем разговор! Но это, сама понимаешь, не даром! Наперед говорю: дело сложное, сейчас никого не принимают. Штат переполнен. А порядки у нас что надо.

Глупая девчонка ничего не понимает! Она говорит:

— Откуда же у меня деньги? Нет у меня ничего. Вот все, что на мне да в чемоданах. Вы и даром не возьмете.

— Какая несообразительная! — подмигивает Баганай. — Кто же с тебя денег требует? Мы не взяточники какие-нибудь.

— Твоей благосклонности будет достаточно, — ухмыляется Катук. — Мой товарищ уважает смазливеньких.

Девчонка — вот этого я не ожидал! — тоже смеется. Надо же!

— Ой, рассмешили! — говорит она, передохнув. — Знаете, я верю в приметы, честное слово! Дай, думаю, подойду к дяденькам: если они добрые, то обязательно устроят на комбинат. Вы же добрые, верно?

— Приходи сюда к концу смены, — с достоинством говорит Баганай. — Обсудим что и как. Пособим, ежели нужно. Без помощи не оставим.

— В четыре ноль-ноль кончаем, а в четверть пятого подойдем, — добавляет Катук. — Покедова!

Она поворачивается лицом ко мне, и я замечаю, какие дивные у нее глаза: два Азовских моря, честное благородное! Иссиня-синие и такие масштабные, что при нормальном положении на двух и даже на четырех девчат хватило бы.

Естественно, подхожу к ней, говорю деликатно:

— Откуда ты, дуреха, взялась?

Она, конечно, к такому обращению не привыкла. Таращит на меня свои удивительные глаза и ничего связного сказать не может. Наконец спрашивает:

— Ты что, с ума спятил?

— Прости, пожалуйста, — говорю я, смягчая грубый тон, — я тут случайно подслушал, как они тебе голову морочили. Думал, за ответом в карман не полезешь, а ты... Понимаешь ли, дурная голова, чего они от тебя требуют?

Она, вижу, вознегодовала.

— Ну и что? Чего они от меня могут требовать, если я им ничего не должна?

Все девчонки, известное дело, сразу в бутылку лезут. Амбиция не позволяет им прислушиваться к мудрым советам. Им добра желаешь, а они никак этого понять не могут. Беда с ними.

— Они же заманивают тебя, — пытаюсь втолковать ей. — Неужели не видишь, что они совсем не те люди, которые тебе нужны?

— А хоть бы и так! — огрызается она. — Тебе-то какая забота? Чего суешься не в свое дело? Подумаешь, шеф сыскался. Я в таких шефах не нуждаюсь!

Я ввязался в эту историю жалеючи как бы... Теперь вижу, не найти нам с ней общего языка. А жаль девчонку, конечно. На полном ходу делаю поворот на сто восемьдесят градусов и с напускным безразличием произношу:

— Ну, как хочешь. Сама не маленькая. Чего, в самом деле, я влез в эту историю? Больше всех мне нужно, что ли?

И начинаю озираться, будто ищу, куда бы мне пойти. Тут она и говорит мне:

— А ты не такой, как все...

Чего-то, вижу, шевельнулось в ее сердце.

— Не ты одна об этом говоришь, — отвечаю небрежно.

По собственному опыту знаю: девчонки не любят нежных разговорчиков.

— Что же мне делать? — спрашивает она. — Ну, посоветуй.

— Хочешь работать, держи курс на комсомольский комитет, — говорю строго. — Сама должна соображать.

— Не комсомолка я, — отвечает она сокрушенно.

— Тогда обратись в отдел кадров.

— А примут?

— Откуда я знаю...

В самом деле, откуда мне знать, о чем думают в это время работнички отдела кадров? Может, как раз ломают себе голову над вопросом, принять меня на ком-

бинат или отказать? Девчонка окончательно расстроилась.

— Попытайся, во всяком случае, стоит, — добавляю я.

Молчим.

— Знаешь, почему я тут в городе оказалась? — неожиданно спрашивает она. — Ни за что не отгадаешь!

— Я и не пытаюсь отгадывать.

Если бы я проявил интерес, она, будьте уверены, ни за что не стала бы рассказывать. Таковы, к сожалению, все девчонки. А когда не хочешь слушать, у них — душа нараспашку.

— Вот как это случилось,— говорит она решительным тоном. — Влюбилась в одного парня. Там, в деревне... Ну, как только объяснились, тут же договорились сбежать. Конечно, решили уехать на комбинат. А комбинатом увлек наш учитель, химик. Очень уж он расхваливал его. Говорил и про разные продукции и про сказочные перспективы города. А потом у него — у Даута, а не у химика — решимости не хватило. Струсил и остался в деревне. А я вот решилась. Видишь ли, мне никак нельзя отступать. Правда ведь, отступать от задуманного очень мерзко?

Бывают же такие наивные существа! Ну, какую романтику можно найти возле химии? Умора!

— Сколько же тебе лет? — начинаю я расспрашивать, снова испытывая к ней жалость.

— Семнадцать, — шепчет она, хотя возле нас никого нет, и умоляюще добавляет: — Но это строго между нами! Я ложную справку из сельского Совета взяла, там у меня подружка, она один год мне прибавила. Только не подведи. Поклянись!

— Чего ради мне тебя подводить? — говорю ей. — Иди в отдел кадров, обеденный перерыв уже кончился. Сытые всегда добрые, мне об этом один военный говорил. Он у нас во дворе живет.

Она быстренько поднимает свои фанерные чемоданы и отправляется в отдел кадров, даже не попрощавшись, не говоря уже о благодарности, — так заторопилась!

Я не догадался спросить, как ее зовут. И где искать ее, девчонку с роскошными косами.

6

В нос бьет резкий запах нашатырного спирта. «К счастью, человеческое обоняние никудышное, многого оно не улавливает, — философствую я, важно шагая вдоль длинного забора. — Между тем самая обыкновенная дворняжка, как об этом говорят ученые, разбирает до полутора тысяч запахов».

В кармане брюк бумажка: «В распоряжение начальника цеха». Хромая женщина из отдела кадров не скрыла своего расположения ко мне: «Старайтесь устроиться помощником оператора. Через полгода обеспечено продвижение. Сначала оператор, а потом что-нибудь и повыше. Работа чистая и денежная...»

Я не знаю, о чем Амантаев говорил с начальником кадров, художественно ли меня описывал или кое-что пригладил для пользы дела, но в отделе, куда я пришел попозже, со мной обошлись по-божески. Первый день ушел на оформление, на всякие анкеты и фотографирование, зато в результате из меня получился полноправный карбамидчик.

«Нашатыркой воняет потому, что дождь моросит», — догадываюсь я.

Майское небо осыпает меня легкой водяной пылью, точно парикмахер одеколоном. Под этим туманным дождичком нельзя промокнуть и прятаться не надо — благодать!

Волшебное утро настраивает на лирический лад... Где-то я читал, что даже артисты в хорошую погоду играют лучше, чем в плохую. И это, конечно, верно.

Вот и цель моего похода...

То ли я подгадал к часу «пик», то ли здесь всегда такое столпотворение, не знаю. Но я не рискнул с ходу перейти на ту сторону, к проходной, пока не поредеет машинный поток. Колонна проносится за колонной... Вижу, что не переждешь. Решил перебежать через дорогу — была не была!

И чуть не угодил под самосвал. Он неожиданно вылетел откуда-то с поворота, я еле успел отпрыгнуть назад, но не рассчитал, и тут, у обочины дороги, меня чуть не сбил встречный автобус. Если бы в этот миг не появился ангел-хранитель и не оттащил меня за шиворот, от меня осталось бы одно воспоминание. Это факт.

— Тебе что, жить надоело?

Оглядываюсь на спасителя и вижу — стоит какой-то кавказский тип, улыбается. Одним словом, невысокий худощавый паренек. И возле него глазастая красавица, рослая и дородная. Стоит как памятник, даже пальчиком не шевельнет. До чего важные бывают женщины!

— Слушай, тебе говорят! — шумит чернобровый паренек и хохочет во все горло. Неужели не понимает, что мне сейчас не до смеха? А он никак уняться не может.

— Спасибо, — выдавливаю я, догадываясь, что он-то и есть мой ангел-хранитель.

— Не меня благодари, а мою жену, Лирочку. Это она тебя вытянула на тротуар. Чужой заслуги мне не приписывай.

— И ей спасибо, — говорю, немного приободрившись.

Таким образом я засвидетельствовал свое почтение, как полагается, а она даже глазом не моргнула. Стоит себе и молча изучает меня, точно раскаивается: «И зачем только я вытащила тебя, такого лопуха?»

Не люблю, когда сквозь меня смотрят. Просто не привык.

«Глаза — будь здоров! — тут же восхитился я. — Светло-зеленые, точно хвойная вода! У кошек такие бывают. У диких!»

Они, видно, муж и жена, дождавшись просвета в машинном потоке, перешли дорогу, и я решил последовать их примеру.

Дотошный вахтер долго вертел в руках мой новенький пропуск.

— Пройдешь вон до той высокой трубы, никуда не сворачивая, — охотно пояснил он. — И как только дойдешь до нее, слева увидишь заброшенное здание, вроде элеватора. Старое воронье гнездо!.. Это и будет цех карбамида...

— Каррамба! — воскликнул мой кавказец, даже не дослушав вахтера. — Ты что же сразу не сказал, что карбамидчик? Пойдем, братец, нам по пути!

— Ты что, кубинец? — усмехнулся я, услышав латиноамериканское «каррамба».

— Нет, испанец.

— Настоящий?

— Разумеется.

— Значит, Барселона, Толедо и Сьерра-Невада?

— Мать — Испания, отец — генерал Лукач, Бильбао — моя спальня, а Бискайский залив — ванная комната.

— Значит, из тех, кого в тридцать шестом вывезли под бомбами?

— Мне тогда было пять лет. Не полных, четыре года с какими-то месяцами.

Он говорил со мной как человек с человеком, его жена вышагивала молча. «Ну и молчи! — начал я на нее сердиться. — Тоже мне царица белебеевская!»

— У нас, испанцев, с самого начала был уговор: всем встречаться в мае. На Красной площади. Ежегодно, и что бы ни случилось. Сначала это было нетрудно — жили в двух-трех интернатах. Потом стали учиться — кто где, но все в Москве. Теперь собираться труднее. Доминчес, например, живет в Башкирии, Эмилио — в совхозе под Ашхабадом, Августино — в Сибири, Кончита — в Ростове. Вот и попробуй вырваться!

— Значит, тебя зовут Доминчес?

— Меня — Доминчес Алонсо. А супругу — Лира Адольфовна.

— Ты уже нас познакомил, — напомнил я.

— Возвращаюсь из отпуска — новость! — между тем продолжает Доминчес. — Жена больше не хочет сидеть дома. Видишь ли, ей надоело: «Что хочешь делай, но устраивай!» И она права; когда она бездельничает, к ней мужчины липнут. Женщина видная, вот ей и не дают проходу. Никому в голову не приходит, что она мужняя жена. Ха-ха-ха!

7

Он смеялся, ему весело, а мне — нет. Вскоре он перестал хохотать, понял, что меня мало интересует его супруга.

С минуту шли молча, но Доминчес, как видно, не любил молчать. Указав на одинокую заводскую трубу, он подмигнул мне:

— В тридцать нормальных этажей! Но пока ее строили, выяснилось, что можно обойтись без нее. Так она и не задымила ни разу.

«Сколько же денег зря угробили!» — ужаснулся я, но подумал: техническая революция такая штука, что строители не всегда поспевают за ней, и ничего удивительного в этом нет.

— А с этим «элеватором» такая же трагедия, если не пострашней, — продолжал Доминчес. — Построили его сразу после войны, кому-то вздумалось использовать местный уголь как сырье для синтетической химии. Но жизнь обогнала благие намерения химиков. Не уголь, а нефть стала матерью нашего комбината.

Тут уж у меня не хватило выдержки.

— Ничего себе порядочки! — воскликнул я. — Что же они раньше думали?..

— Тебя не спросили! — засмеялся Доминчес. — Выяснилось, что в наших условиях уголь — невыгодное сырье. Теперь на этой базе строим новое производство.

В одном из коридоров, на первом этаже, разместилась конторка. В нее-то мы по очереди и протиснулись. Сначала вошел Доминчес, потом его жена, я замыкал шествие.

Я оглядел комнату. Времянка: два немытых окна, грязный пол. Цех строится, понятное дело. И оборудование временное: большой стол с телефоном — для начальника цеха. Маленький — для чертежницы. Это по инструментам легко угадать.

На стулья хоть не садись — замаслены.

Над столом начальника — большой плакат, написанный от руки: «Говори короче! Одну треть нашего времени мы тратим на бестолковые разговоры».

Такого нигде не приходилось видеть. «Начальник — оригинал!» — усмехнулся я.

Высокий и худой мужчина стоял к нам спиной; по-видимому, это и был начальник цеха. Молодая девчонка, не обращая на нас никакого внимания, продолжала разговор с начальником.

— Парторг велел прибить еще один плакат, — говорила она, не скрывая своего неодобрения.

— Ну, что еще он там изобрел?

— «Не отравляйте своих близких табачным дымом!» — прочитала девчонка громко и не торопясь.

— Что же вы мне прикажете делать: выбегать на улицу, когда захочется затянуться папиросой? — спросил начальник, продолжая смотреть в окно.

— Боюсь, что придется...

— Полагаю, этот номер не пройдет, — вспылил он, повернувшись к чертежнице.

И тут он увидел нас:

— Ба, кого я вижу!

Протягивая руку, Доминчес назвал его товарищем Задняя Улица. Поначалу я подумал, что это шутка. Не может, думаю, немалый начальник, инженер, носить черт знает какую фамилию. Может, псевдоним какой?

Но нет. Слушаю, как подчиненная ему девчонка говорит тоже:

— Товарищ Задняя Улица, только что звонили от Седова...

Седов, насколько я понял, самая главная на комбинате личность. Я слышал, как в отделе кадров почтительно склоняли его фамилию: «Седов приказал...», — говорил один. «До самого Седова дойду»,— угрожал другой.

«Значит, Задняя Улица — настоящая фамилия», — размышлял я, косясь на человека, сидевшего за столом.

— Ну, рад тебя видеть, Доминчес Федорович! — говорил начальник, радостно улыбаясь. — Хорошо ли отдохнул? Как Москва?

— Отдохнул хорошо. Но вот возвращаюсь из отпуска и что же вижу: жена восстала, — весело докладывал Доминчес. — Говорит, надоело сидеть дома.

Рассказывал, а сам поглядывал в сторону своей молчаливой жены.

Лира Адольфовна, иронически поджав губы, молчала.

— Самое настоящее восстание. Ну, что же, говорю, обмозгуем твое предложение. Может, это и к лучшему. Во всяком случае, ничего худого в этом нет. Подумал, подумал и надумал: с вами посоветоваться. Насколько я знаю, цех расширяется, людей набираем...

Я, однако, видел, что начальнику не особенно нравится такая перспектива: он, чувствую, не в восторге от Лирочки Алонсо. Может, он давно знает ее?

Подумав, начальник изрек:

— Я могу договориться с лабораторией, работа там легкая, женская, не то что у нас...

— Нет, нет, — Доминчес замотал головой. — Не все же знают, что она замужем. Лучше ближе ко мне. Привязывается к ней всякий, кому не лень.

Лира по-прежнему спокойно смотрела на Заднюю Улицу, будто не о ней шла речь и ей до этого нет никакого дела.

— Ну, как же, товарищ начальник?

— Ладно, оформляй. Пусть поработает помощником оператора. Посмотрим, как пойдет у нее дело. Со временем все равно придется послать на курсы.

— На курсы? — вздохнул испанец.

— Да, без этого нельзя.

— Ну что же, на курсы так на курсы. Спасибо, Иван Ильич.

— Ну-с, я вас слушаю, — товарищ Задняя Улица повернулся ко мне. — Вся наша жизнь складывается из коротеньких секунд. Говорите короче.

— Меня зовут Хайдар. Фамилия Аюдаров. Вот направление — более кратко выразиться не умею.

— Сразу видно новичка, — усмехнулся он, оглядев меня с ног до головы. Он, конечно, увидел только длинные волосы и узкие брюки и, очевидно, остался недоволен. — Пока походи по цеху, приглядись, потом зайди еще разок.

Был он огромного роста, чуть сутуловат.

«Непонятная экскурсия», — подумал я. Мне показалось, что он хочет выиграть время, созвониться с кем следует, пока я гуляю по цеху, а потом с обескураживающей улыбкой заявить: «Я бы с охотой, браток, да не могу. В отделе кадров у нас известные путаники».

Я все еще стоял перед ним, не зная, послушаться ли мне его или сказать, что я разгадал его уловку.

— Чего, браток, ждешь? — спросил Задняя Улица, решительно потянувшись к телефонному аппарату. — Визит ко мне повторишь, понятно? А пока пройдись, оглядись, осмотрись.

Приказание самое неопределенное: что я должен посмотреть и на что обязан обратить внимание, не по-[illegible]

Вышел за дверь. Чувствую, кто-то хлопнул меня по плечу.

— А, это опять ты, Доминчес!

— Просись за слесаря. В нашу бригаду. Будешь доволен.

— Ладно, — я улыбнулся новому другу. — Ладно, браток.

Я бы, конечно, не прочь последовать совету испанца. Как-никак слесарил в уфимской артели по производству кроватей и прочих скобяных изделий. Вот уж не думал, что мой куцый стаж может пригодиться.

Доминчес юркнул в дверь, а я — руки в брюки и стал прогуливаться. Не все ли равно, где я проведу четверть часа?

Везде работали строители, рядом со старым корпусом они воздвигали новое громадное здание.

Прошел вдоль строящегося корпуса — двести семьдесят три шага, в ширину — сто семь. Откинешь голову назад, дух захватывает, — там, под облаками, монтажники, а чуть пониже — кабина машиниста башенного крана.

Залюбовался работой крановщика.

Ветер разносил пронзительный и какой-то радостный девичий голос:

— Вира! Вира! Вира!

Видно, уж очень веселая девчонка командовала краном.

За строящимся корпусом три толстые трубы выбрасывали в небо желтое, сизое и черное облака. Там, в выси, три дымных потока вытягивались в одну кудель,

и она, живая и безмятежная, долго полыхала над башнями — одинокими, напоминающими минареты.

Огромные алюминиевые резервуары скрывали собой невидимые корпуса; время от времени тихо[illegible] потрясали глухие раскаты. Таинственный и неведомый мир индустрии властвовал над землею, над ветрами, над людьми.

На высоте трехэтажного дома во всех направлениях протянулся лабиринт трубопроводов. А земля изранена — совсем недавно здесь работала землеройка...

«Ну что ж, насмотрелся досыта. Пора, пожалуй, кончать мою экскурсию», — решил я.

Опять предстал перед Задней Улицей, терпеливо ожидая, когда тот кончит ссориться по телефону. Кому-то он посулил «нежный разговор», кого-то упрашивал, а третьему угрожал всеми земными карами.

— Ты у меня заработаешь индивидуальный нежный разговор, — басил Задняя Улица. Увидев меня, он положил трубку и вежливо спросил: — Уже вернулся?

— Насмотрелся, — ответил я. — Цех что надо. Подходящий.

— Бегом промчался, что ли? Если бы около каждого компрессора или сепаратора постоял хотя бы по пять минут, то, по моим подсчетам, дошел бы только до середины цеха.

— Чего ради я стану прогуливаться среди работающих людей?

Мой ответ пришелся ему не по вкусу. Даже передернуло его.

— Прости, дружище, но непохоже, что из тебя получится рабочий человек, — стал пророчествовать он. — Хозяйской жилки у тебя нет. Очень жаль. Так ведут себя экскурсанты. Пробежал, и ладно... Может быть, сразу откажешься? Войди в мое положение, не

могу я тебя поставить к сепаратору, а тем более к компрессору. В другом месте поищи работу. Три новых цеха открываем. Для твоей же пользы говорю.

Но я не отказался. Иногда и я могу быть упрямым.

— Меня бы устроила должность дежурного слесаря, — сказал я. — Стаж хоть и небольшой, но имею.

— Собственно, о каком стаже ты говоришь?

— В артели работал. По слесарной части.

Тут ему опять позвонили. А потом еще...

Приблизительно через полчаса Задняя Улица, не переставая разговаривать по телефону, повернул ко мне сердитое лицо.

— Ладно, сам гляди, — сказал он, прикрывая рукой трубку. — Становись слесарем. Будь моя воля, не видать бы тебе цеха. Поверь моему слову. Ну, пусть будет так, как хочет наш партийный вожак Амантаев. Может быть, он лучше меня разбирается в людях. Очень может быть. Поживем — увидим!

Впервые я услышал, что Амантаев не только старший инженер цеха, но и партийный руководитель.

Не очень-то вежливо меня здесь приняли, но я не слишком расстроился. Ведь часть вины лежала на мне самом: не надо было лезть на рожон!

Видя, что я еще торчу перед его глазами, он добавил:

— Поищи Барабана. Он и будет твоим бригадиром.

Через некоторое время я разыскал Барабана. Вижу, он тот самый Баганай, который вчера возле управления заманивал девчонку, спустившуюся с гор. Час от часу не легче.

— Полы мыть умеешь? — спросил Барабан.

— Из простого любопытства спрашиваешь? — не сдержался я.

— К сожалению, имею специальный интерес, — он оскалил зубы. — Нам, видишь ли, некогда глупостями заниматься. Спрашиваю, чтобы тебя к делу пристроить.

— А где же твои уборщицы? — спрашиваю его, ошарашенный этим предложением. — Разве не положено по штату?

— Какой прыткий! — воскликнул он громко, чтобы услышала вся бригада. В эту минуту он был преисполнен величия. — В том-то и штука, браток, что на данном этапе все мы тут уборщицы. Пока строители не сошли с крыши и не убрались монтажники, у нас другого выхода нет. Нужно им помогать. Соображать должен. И поменьше вздору молоть.

Мне дали ведро с мешковиной. Дома сроду этим делом не занимался, а тут запрягли.

И даже фамилию спрашивать не стали. «Ничего себе, — думаю, — не даром десять лет проучился, в поломойки угодил!»

Не успел я присесть возле ведра, как появился Катук.

— Не мастак, как вижу, не мастак, — проговорил он, хихикая. — Животом до пола должен касаться, иначе перемыть заставят. Слушай старших, будь ласков...

8

Новоиспеченный карбамидчик ползает на брюхе на отметке двадцать один. В переводе на житейский язык — на третьем этаже. Химикам пока здесь нечего делать, здесь царствуют кудесники-монтажники, а еще выше, на отметке тридцать пять,—единоличная власть

строителей. Мы принимаем этаж за этажом, по готовности.

Ползаю не я один. Старый химик Прохор Прохорович, человек благородной осанки, орудует мешковиной, как заправский матрос шваброй, будто всю жизнь только тем и занимался, что драил пол до блеска. Только Катук не снизошел до положения поломойщика, он — в руководителях, крутится возле бригадира, но рук не марает!

— Неделю назад девчонки на моих глазах уложили плиточки, — ворчит Прохор Прохорович. — А монтажники, чертовы дети, во что превратили пол!

«Чертовы дети» сидят тут же, у них перекур.

— Выпиши нам, батя, белые перчатки, — шутит чумазый парень.

— Да, без белых перчаток нам смерть, — поддакивает другой, расплываясь в улыбке.

— Заставить бы тебя, паршивец, самого убирать за собой, не стал бы шкодить!

Кто-то из молодежи громко произносит:

— Тетя теща, пожалей нас, бедненьких!

— Это кто речь держит? Кто соскучился по теще?

Прохор Прохорович стоит, величественно откинув голову, и в руке держит мокрую мешковину. Но «чертовы дети» молчат, перекур кончился, они усердно копошатся у компрессора — попробуй догадайся, кто из них зубоскалит.

Сердито бросив мешковину в ведро с грязной водой, Прохор Прохорович криво ухмыляется:

— Одно слово — чертовы дети! И к тому же трусливые.

Не дождавшись ответа, старик продолжает:

— Неужели никто не учитывает расход смазочных масел? Неужели над ними нет начальства?

Никто ему не отвечает.

Катук самым любезным голосом окликает меня:

— Эй, новичок! Все еще боишься запачкать пузо?

— Много тут вас, указчиков, — огрызаюсь я, — отстань.

— Послушай меня, новичок: с такой работенкой живо вылетишь из бригады! Не удержаться тебе среди благородных людей...

— Ну-ка, подойди поближе, — говорю я и по примеру старика Прохора Прохоровича хватаюсь за мешковину. — Не бойся. Ты, я вижу, человек ученый. Значит, тебе известно, что у древних греков в ходу была такая поговорка: мало уметь говорить, надо знать, когда тебя станут слушать.

Катук, соблюдая дистанцию, отвечает:

— Где уж нам знать, о чем говорили твои древние греки. Откуда, кстати, они, философы, родом? Не из Белебея?

Он, разумеется, только прикидывается дурачком, сразу видно, что начитан.

И вот тут-то перед нами появляется в сопровождении Барабана сама «белебеевская царица».

Лира Адольфовна величаво приближается к нам. Даже в рабочей синей блузке она чувствует себя королевой.

Перед «белебеевской царицей» мелким бесом рассыпается наш бригадир.

— Куда только смотрит начальство? — притворно возмущается он. — Такую красавицу и ставить на черную работу!

— Черная работа, как я понимаю, для меня временная, — удостаивает его ответом Лира Адольфовна. — Мне обещали должность помощника оператора.

Вот уж не ждал, что она заговорит. Подумать только, сразу между собой и нами, слесарями, установила тонкую дистанцию. Выходит, что помощник оператора — высокая интеллигентная должность.

— Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю для тебя все, что ты сказала, — неожиданно гнусавит Катук, подражая дьячку, и тут же своим голосом добавляет: — Коли попали в нашу бригаду, не мечтайте перекинуться в помощники оператора, не отпустим. Верно, ребята?

Она внимательно смотрит на него, но ничего не говорит.

— Ты погоди-ка со своей библией, — отрезает Барабан. —Я думаю, что такими холеными ручками мыть пол не годится. Не пойдет! Я вам, Лира Адольфовна, наметил работенку, так сказать, возвышенную. Поднимитесь вот по этой лестнице и сухой тряпочкой протрите стекло. Дело это опрятное, а зарплата все равно идет.

— Так бы и сказал, что ставишь ее ко мне в помощницы! — усмехается Александра Павловна, жена Прохора Прохоровича.

— То есть как? — бригадир разводит руками. — Кто сказал, что в помощницы? Она будет работать самостоятельно.

9

Прошла первая моя рабочая неделя.

Сегодня начальство распорядилось открыть столовую во втором этаже «элеватора». На эту операцию была брошена часть нашей бригады во главе с Барабаном. Не знаю, из каких соображений, но вместе с Катуком и женой Доминчеса был назначен и я.

— Задача простая, — вслух размышлял Барабан, постукивая кулаком по стене, — снести вот эту перегородку, и делу конец. Конечно, придется и мусор выбросить. Остальное — не наша забота. Придут строители.

Ходит слушок, что в штурмовые недели на строительную площадку сгоняют сотни людей. Их-то и надо кормить.

— Собирайся, новичок, — обратился ко мне Катук, — сходим за ломом. Без него нам не сдюжить, а до склада рукой подать.

— Где это видано, чтобы за одним ломом двое ходили? — возразил я. — Сходи один.

— Ты, новичок, ничего, пройдись, — вмешался Барабан. — Захватите лопатки и ведро или лучше — носилки. Кстати, не забудьте выписать пару рукавиц для товарища Доминчес.

Только тут я сообразил, что ему хочется остаться с «белебеевской царицей» наедине. Но я не торопился уходить, ждал, что скажет Лира Адольфовна.

Если у нее есть хоть немного совести, должна же она запротестовать! И тогда никто не сможет заставить меня подчиниться Барабану. Но она промолчала. Она посмотрела на меня насмешливо и чуточку настороженно.

— Ну, пошли! — крикнул Катук.

Склад помещался в правом крыле «элеватора». Пока мы оформляли накладную на рукавицы и ждали хозяина склада, прошло немало времени. Возвращались молча. На душе было нехорошо.

По лестнице подымались громыхая лопатами и громко стуча ботинками. Возле двери я раз-два кашлянул, чтобы не застать их врасплох.

Как только мы вошли, Барабан суетливо поднялся с подоконника. Красавица не удостоила меня вниманием.

— А ну-ка, подавай сюда лом! — потребовал Барабан.

Я невольно залюбовался его работой — он был сильный и сноровистый. После третьего удара упала почти четверть стены, посыпалась штукатурка.

— Помочь тебе?

Он только засмеялся.

— Обойдемся.

Растаскивая доски и глыбы штукатурки, я размышлял: «И зачем Доминчес, этот раззява, живет с ней? Неужели он слеп?»

Теперь я более внимательно взглянул на Лиру Адольфовну — никакая она не красавица! Крупная, широкие плечи, круглое лицо.

Мы с Катуком подняли носилки и стали спускаться по лестнице. Я шел сзади, и поэтому мне приходилось пригибаться, чтобы не рассыпался мусор.

— Баба что надо! — бросил через плечо Катук, мелкими шагами спускаясь по ступенькам. — Находка!

— Перестань, болван! — прошептал я, заскрипев зубами.

— Ты очумел, что ли? А ну-ка, веди себя, своячок, как подобает.

Я чуть не опрокинул на него носилки. Однако быстро овладел собою. Он прав. С самого первого дня я для них чужой, «привезенный», чей-то «своячок», «родственничек».

Едва дождался обеденного перерыва. Никогда еще так тоскливо не было у меня на душе.

Александра Павловна — тетя Саша — быстренько увела своего ворчуна Прохора Прохоровича домой, они живут тут же, неподалеку. Улыбающийся и самодовольный Доминчес под ручку с женой направился в столовую электростанции. Я отвернулся, делая вид, что не заметил их. Мне было стыдно смотреть Доминчесу в глаза.

«Ты не испанец! — ругал я его на чем свет стоит.— И, по правде говоря, не мужчина! Таких, как Барабан, следует бить. Кулаком. Иного разговора они не понимают...»

За цехом, среди суровых каменных корпусов, раскинулся молодой парк. Я приметил его, когда ходил на склад. Мне надо было остаться одному, чтобы прийти в себя, и я устроился там в тени.

Видать, кому-то очень уж полюбились березки. Зеленая аллея напоминала людям о том, что существуют где-то дремучие леса и раздольные степи. Эта нежная поросль как бы говорила мне и всем тем, кто умеет слушать голоса березок: «Эй, вы, кудесники, научившиеся производить из этой никудышной сернистой нефти ароматные духи и отличные удобрения, превосходные заменители шерсти и кожи, не забудьте все-таки поклониться. Эй вы, современные алхимики, шапки долой перед нами!»

Я сказал самому себе: если уж со мной заговорили березки, значит что-то неладно у меня на душе.

Березки стояли — милые и грустные. Я настроился на этот лирический лад, и мне уже стало казаться, что они жмутся друг к другу в страхе перед надвигающейся осенью. Подумал: наступит листопад и вот они пойдут по золотистой дорожке неторопливой и печальной походкой...

Грустно мне, пожалуй, оттого, что рядом нет моих старых приятелей, а к новым еще не пригляделся...

Я только что мыл пол, сгибаясь в три погибели... А все, чем я жил до этого, никогда уж не вернется. Между моим прошлым и будущим теперь лежит половая тряпка.

10

Придя к такому невеселому заключению, я расстилаю перед собою газету и кладу на нее завтрак: бутылку молока и два бутерброда с колбасой.

Недалеко от меня расположились двое ребят, наши операторы. Карим и Салим. Пока не тороплюсь заводить с ними близкое знакомство, успеется. Просто киваю головой. Парнишки тоже не навязывают своей дружбы. Ничего не скажешь, солидная здесь молодежь! Так и сидим себе особнячком, и каждый своим делом занят.

По возрасту и форме легко определить, что они из ремесленного училища. А раз так, почему они, такие важные и солидные, не побежали вместе со всеми в столовку? Теперь у них прочный заработок, можно жить на широкую ногу. «Может быть, — вдруг промелькнула у меня мысль, — вдвоем копят деньги на один мотоцикл? Тут, как вижу, у многих свои машины. Наверное, по молодости их зависть гложет!»

Сидим себе и молча закусываем.

Неожиданно появляется сам Барабан со своим неразлучным дружком.

Слышу сиплый монотонный голос Катука. Он для меня так и остался Катуком. Его настоящую фамилию и называть не хочется.

— Остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских...

Работает под попа, чурбан.

— Ну, тихо! — загудел Барабан.

Теперь я отличу его бас среди тысячи голосов. «Опять начнет философствовать насчет баб, — с неприязнью подумал я. — С утра до вечера одно и то же. О бабах, между прочим, говорит только в тоне победных реляций. Дрянь эдакая!»

— К примеру, — начинает он, — была у меня одна такая история в городе Стерлитамаке...

Теперь хоть уши затыкай или пересаживайся подальше. Но, к моему большому удивлению, к этим решительным мерам прибегать не пришлось. Рассказчик запнулся на полуслове.

Я оглянулся. Вижу, из-под портального крана, на котором крупно выведено: «Не стой бараном под подъемным краном», вынырнула Майя Владимировна Саратова — старший инженер-электрик нашего цеха. Все мы с самым глупым видом уставились на нее. До того хороша Майя Владимировна!

— Здравствуйте, — проговорила она звонко. — Перекур?

Барабан сразу вскочил на ноги.

— Если есть желание, Майя Владимировна, просим разделить компанию. Найдется чем угостить.

— Неужели уже полдень? — удивилась она. — А впрочем, не беда. Пообедаем позже. Вы не видели товарища Амантаева?

Барабан дерзко ухмыльнулся.

— Где же быть руководящему товарищу, как не в кабинете?

Как ни странно, услышав не особенно лестный отзыв об Амантаеве, Майя Владимировна не одернула

бригадира. Это потому, что она счастливая. Все красивые люди, по-моему, счастливые!

Проводили мы ее, как и встретили, с какой-то неосознанной грустью. Отчего бы это?

— Небрежной походочкой ходит! — оценил на глаз Барабан. — Ну, погоди. Нет такой бабы...

Мне отчаянно захотелось стукнуть его по морде. Остальные промолчали. По-видимому, они уже не обращали на него никакого внимания или, возможно, не хотели с ним, болваном, связываться. Кулаки у него крепкие.

Почему я так люто возненавидел Барабана? И сам объяснить не могу. Может быть, вот за эту бесстыжую самоуверенность.

Если бы при мне задели честь другой женщины, я бы тоже возмутился. Но вряд ли бы дело дошло до открытого протеста. А Майя Владимировна Саратова для меня — исключительная личность. Пусть она старше меня лет на пять или шесть, дело, в конце концов, не в этом. Я никому не позволю говорить о ней плохо.

— Брешешь ты! — сказал я, повернувшись к бригадиру. — Вот уж грязная брехня то, что ты сейчас сболтнул.

Протест у меня, вообще-то говоря, получился довольно ребячливый. Однако я не предполагал, какой эффект он вызовет.

Барабан подскочил ко мне.

— Это ты, сосиска в молочном возрасте, сомневаешься насчет моих слов?

Оскорблять он умел. Теперь у меня не оставалось никакой возможности к отступлению. Я сразу понял, что сегодняшняя стычка предопределит наши отношения на все будущие времена. Мне захотелось крикнуть ему в лицо какую-нибудь грубость, но я сдержался.

— Сознайся, — по возможности миролюбиво проговорил я, — большое свинство говорить так о женщине. Тем более, и ты это знаешь, ее некому защищать.

Когда-то Задняя Улица говорил кому-то по телефону, я случайно подслушал, что года два назад муж Саратовой погиб при взрыве.

Бригадир посерел от злости; наверное, я на больную мозоль его наступил.

— За каким чертом, безмозглый парень, ты суешься не в свое дело? — прорычал он, надвигаясь на меня.

— «И сделался великий вопль во всей земле египетской», — Катук зевнул и нормальным человеческим голосом произнес: — Эх, мил-человек, зачем только ты с ним связываешься?

Ничего себе сценка! Один лезет в драку, а другой услужливо осуждает слабого. Понимаю, им обоим хочется подавить новичка, чтобы он стал покорным да шелковым. Они только одного не рассчитали: если во мне взбунтовалась душа, я иду наперекор всему. Я понимал, что мне с Барабаном не сдюжить. Горло сжимали спазмы, но я заставил себя прохрипеть:

— Пусть Майю Владимировну оставит в покое!

Не успел я кончить, как уже растянулся на земле. Особой боли не чувствовал, он ударил вполсилы.

— Грязный хвастун, очумел, что ли? — заорал я, вскочив.

— Значит, урок не пошел впрок, — глухо пробасил Барабан. — Придется, как вижу, повторить.

Я швырял слова ему в лицо:

— Никогда, никогда не позволю пальцем до нее коснуться!

Вторым ударом он разбил мне верхнюю губу и, кажется, выбил зуб. Даже потемнело в глазах, я чуть не лишился сознания. Ошеломленный, лежал на земле и обзывал его последними словами. А свое «никогда» готов был повторять до последнего дыхания.

Вскочил и ринулся на него. И со всего размаха сунул кулаком в его подбородок. Но он увильнул от удара. Ударить в третий раз не успел. Кто-то повис на его локте.

— Кто там балуется? Ну-ка, отпусти — прохрипел Барабан, пытаясь высвободиться. — Кому говорят?

Перед ним стоял рассерженный Амантаев. Он ниже ростом, чем Барабан, но коренастый, и сила в нем немалая. Чуть побледнев, он проговорил:

— Драку затеял, бригадир?

— Оскорбление выслушал, товарищ начальник. Вот этот человек обозвал меня свиньей и тому подобными неподходящими словами. К этому непривычен. Все знают. Спроси любого, подтвердят!

— «Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его»... — заунывно затянул Катук и опять нормальным голосом сказал доверительно, выгораживая бригадира: — Никакой драки, по существу, не было. Что верно: дуэль была. Один смех!

— Что за чепуха, какая еще дуэль? — опешил Амантаев.

— Они повздорили из-за этой самой гражданочки, то есть Саратовой, — пояснил Катук.

— Я ему, подлому человеку, ни за что не прощу,— мрачно сказал я, выплевывая кровь. — Пусть намотает себе на ус...

Угрозы мои, конечно, никого не испугали, а мне стало легче.

В эту минуту я ненавидел Амантаева ничуть не меньше, чем Барабана. При нем меня избивали, а он пальцем не пошевелил. Только и спросил: «Драку затеял, бригадир?» Даже не припугнул его. Хорош мамин приятель, привез, сунул под начало этому бандиту, и дело с концом.

— Экое безобразие! За кулачную расправу, повидимому, придется понести наказание, — спокойным голосом сказал Амантаев. — Если каждый из нас начнет драться, что же получится? Ведете себя, как хулиганы!

Амантаев ушел, покачиваясь, он шагал, как боцман по палубе, а вслед ему Катук сочувственно произнес:

— И придется тебе, Барабан, пойти на нежный разговор с Задней Улицей. Предвижу.

11

Я понимал, что между нами должен состояться обстоятельный разговор — может быть, последний. И поэтому с нетерпением, смешанным со страхом, ожидал возвращения Амантаева. Он задержался где-то, быть может, на очередном собрании. Не знаю, крайняя ли это необходимость или особая любовь к заседательской скуке? По-моему, слишком много у нас заседаний.

Если разругаемся, думал я, то тем лучше, с легким сердцем уеду домой. На этом комбинате свет клином не сошелся.

Я ходил из угла в угол и в который раз намечал план предстоящего разговора: с чего начинать и как вести. Ведь зачинщиком должен быть я. Если я ему

скажу: «Ради этого и привез меня сюда? Тебе захотелось отдубасить меня чужими руками? Что ж, торжествуй: и дело сделано, и твои руки чистые...» На это он, возможно, ответит мне: «А как сам думаешь?» Вопрос на вопрос всегда дает выигрыш во времени, можно успеть обдумать ответ. Мне, естественно, придется сказать: «На этот счет, честно говоря, у меня нет никаких сомнений!»

До этого места диалог развивался как будто гладко. А что последует дальше? Характер у Амантаева непонятный — трудно предвидеть дальнейшее течение разговора.

Я пытался себя успокоить. Снова ходил из угла в угол.

В том, что произойдет стычка, и горячая, я был уверен.

И тут, не постучав в дверь, вошла Майя Владимировна Саратова. Застав меня одного, она немного растерялась.

— Разве Искандера Амантаевича все еще нет?

Несколько секунд, и она овладела собою. Прошла в нашу убого обставленную мужскую обитель, очаровательно улыбнулась. Честное слово, как ловко женщины выходят из любого неловкого положения!

Другому человеку я, пожалуй, сказал бы: «Как видите, его нет. Неужели вы решили, что я его прячу?»

Но с ней невозможно говорить таким ироническим тоном. Язык не поворачивается.

— Вот-вот должен вернуться. Сам его жду.

От нее исходил запах ландышей. Настоящих. Только что сорванных на опушке леса.

— Боже мой, что с вами? — вдруг вскрикнула Майя Владимировна. — У вас губа рассечена!

— Это пустяки...

— Неужели правда, что вы дрались из-за меня? Мне рассказали... Это же глупо, мой мальчик.

— Вам неправильно рассказали.

— Ну хорошо, не будем об этом говорить. Вы разрешите мне подождать Амантаева? — она опять улыбнулась. — Умеете занимать женщин?

Я всегда робею перед хорошенькими женщинами. Сам не знаю почему... И если позволю себе говорить смело, то это тоже из робости, из желания показать себя взрослым мужчиной.

— Если бы вы были моей гостьей, то я, конечно, сумел бы занять.

Она заразительно рассмеялась.

— Тогда считайте меня своей гостьей.

Прищурившись, она начала разглядывать меня сквозь густые ресницы. Ей-богу, не знаю, как развлекать женщину, которая без зова пришла в твой дом.

— Был бы у нас магнитофон или хотя бы радиола, мы могли бы потанцевать, — неуверенно сказал я.

— Только и всего?

— А что же еще? — спросил я дрогнувшим голосом.

Почувствовал, что краснею. В подобных случаях я всегда начинаю умничать. Это тоже происходит из-за того, что не могу перебороть свою робость.

— Скажите, слыхали вы про Элию Гаон? — Я заранее знал, что она сроду не слыхала про такую знаменитость. Так и есть, не слыхала.

— Кто же она? — спросила Майя Владимировна заинтересованно.

— Не она, а он, — поправил я. — У него была исключительная память. За свою жизнь он запомнил

содержание 2500 книг и по первому требованию мог прочитать любой отрывок из любого тома.

— Ну и что же?

— Как, — удивился я. — Такая исключительная память! Ему стоило один-единственный раз прочитать текст, чтобы запомнить его на всю жизнь.

— Я вашего восторга не разделяю, — ответила Майя Владимировна. — Механическая память — мертвая память. А творческий мозг должен иметь способность, по-моему, и забывать кое-что. Иначе нельзя представить себе процесс созидания.

Мне с ней, откровенно говоря, не хотелось спорить. Я чувствовал, что не выдержу никакой полемики с нею. И зачем спорить с такой красивой женщиной?

Я умолк. Мне уже хотелось только одного: чтобы она поскорее ушла. Ведь при ней я не смогу ссориться с Амантаевым.

Майя Владимировна, конечно, не догадывалась, почему я замолчал и о чем в эту минуту думал. Она, баловница судьбы, по-видимому, все еще ждала, что я, представитель мужской половины человечества, буду ее занимать.

К счастью, не пришлось мне вести светский разговор, вернулся Амантаев. Выручил, одним словом.

— Ну, я побегу! — засуетился я и схватил свой серый пиджак. — Мне надо сбегать в одно место.

Естественно, и Амантаев и Саратова поняли, что это липа, я неразумно засуетился, хотя меня никто и не собирался удерживать.

Майя Владимировна молча следила за тем, как я одеваюсь... Более или менее честно держал себя Амантаев.

— Оставайся, — сказал он. — Вот-вот дождь пойдет. Ты нам не помешаешь. У Майи Владимировны, как всегда, только деловые разговоры.

В данной ситуации третий — абсолютно лишний. Даже при сугубо деловом разговоре. А впрочем, это меня не касается. Им виднее...

12

Вернулся приблизительно через час.

Если у них деловой разговор, то, наверное, все уже выяснили. В самом деле, не мокнуть же из-за них под дождем.

Постучался. Этикет знаю: у хозяина — дама! Захожу, а ее и след простыл.

— Ушла? Так скоро? — изумился я, вешая на спинку стула совсем мокрый пиджак.

— Чего же ей задерживаться? Дело-то пустяковое. Обычная консультация.

Он сидел ко мне спиною и что-то писал. А я, зайдя сбоку, внимательно взглянул на его лицо: хитрит или нет? Неужели и правда по делу приходила?

— О чем была консультация, если, конечно, не секрет?

Если бы в эту минуту Амантаев оглянулся, то, честное слово, заметил бы, что я краснею. Сам себя в краску вогнал. В глубине души я, кажется, приревновал Майю Владимировну к Амантаеву. Этого еще не хватало!

— Какой же секрет? Говорили о карбамиде...

— Вот как... О мочевине, значит?

— О мочевине.

— Неужели другой темы не нашлось? — ужаснулся я. Подумать только: они беседовали о мочевине!

— Чему же ты удивляешься? — он улыбнулся. — Мочевина — будущая продукция цеха. И этот термин принят в официальном обиходе нефтехимиков. Если хочешь подробностей, то изволь: Майю Владимировну интересовало мировое производство мочевины: сколько в данный момент выпускают Соединенные Штаты и Япония; ведь они — первые наши соперники.

И вот разговор, которого я с таким нетерпением ждал и перед которым немножко трусил, начался. И совсем не так, как я представил себе. По-видимому, приход Майи Владимировны спутал все мои карты.

Пытаясь успокоить себя, я думал: «Ну, побили. Барабан потешился. Значит, сам я в чем-то виноват. Нечего на людей сваливать».

И вдруг такая тоска напала — и сказать не могу. С Амантаевым у нас ничего нет общего, ну, абсолютно ничего. Полярно мы с ним противоположны. Вот сейчас хорошо бы поболтать о чем-нибудь или послушать музыку. Но нет, он, видите ли, занят. Так каждый вечер. Если не читает, то пишет. А что пишет, один бог знает. Может быть, протоколы переписывает?

Ей-богу, робот какой-то! В кино, пока я здесь, ни разу не ходил. Идти в ресторан, конечно, и думать нечего, даже музыку послушать не пойдет. Я, бывало, засыпаю, а он еще шуршит газетами. И в книги заглядывает от случая к случаю.

Когда он закурил и затянулся дымом, я осторожно спросил:

— Ты можешь мне ответить на один вопрос?

— Какой? Если это в моих силах, отвечу. Пожалуйста, я тебя слушаю...

— Как-то я читал в одной книжке, что в старину жили-поживали стоики. Ну, такая порода людей. Они во всем себя ограничивали и, конечно, никаких удовольствий не признавали. Одним словом, вели собачий образ жизни. Случайно, ты не последователь этого самого стоицизма? А по-моему, нет никакой разумной необходимости устраивать себе собачье существование.

Чем больше я разворачивался, тем с большим любопытством он смотрел на меня.

— Продолжай... Очень интересно.

— Пожалуйста, продолжу... — послушно согласился я. — Вот ты по уши утонул в своем аммиаке. Неужели не надоела такая ограниченная жизнь? Мне кажется, ты даже во сне видишь химию. Неужели у тебя нет других интересов? И стоит ли ради одной мочевины жить на белом свете?

— А сам ты как думаешь?

— Думаю, что не стоит.

— А между тем стоит, — Амантаев натянуто улыбнулся. — Считай, что карбамид — мое увлечение, моя страсть. Прощаешь человеку страсть?

— Ну, прощаю, только до меня это никак не доходит. Можно питать страсть к женщине, к музыке, к живописи, к книгам, к маркам, животным, в конце концов, к...водке. Но мочевина, — тут я развожу руками, — ничего не понимаю!

Он засмеялся. Но я видел, что ему вовсе не весело. Он вынуждал себя смеяться, честное слово.

— С тобой можно говорить серьезно?— вдруг спросил Амантаев.

— Иногда. Если есть настроение.

— А сейчас есть настроение?

— Если не особенно длинный разговор, то, пожалуй, настроюсь. Не забудь все-таки, что я рабочий

класс — с семи на вахту, значит, в шесть вставать. К тому же моя мозговая организация имеет изъян: не переносит перенапряжения.

— Можешь отбросить шутовство хотя бы на один час? Я отлично вижу: ты только представляешься эдаким разочарованным шалопаем. А в основе ты простой и неглупый человек.

— Подкуп? — насторожился я. — Вот ты мне скажи: чего ради я изображаю из себя шута?

— Об этом я и хотел тебя спросить.

— Значит, моими идеалами интересуешься? Хочется узнать доподлинно, чем я живу и что в моей голове? Не так ли?

— Интересуюсь.

— Попугаев, например, сводит это к такой формуле: «Мой идеал — жить без идеала». Он считает, что все идеалы рано или поздно терпят сокрушительный крах и человечество остается в дураках. Он уверен, что нужно жить без иллюзий.

— Попугаев? Это имя мне ничего не говорит.

— Сочинитель стихов. Ну, уфимец.

— Хороших или плохих?

— У него много почитателей.

— Ты, конечно, в их числе?

Я неопределенно пожал плечами.

Амантаев насупился.

— Все-таки попытаемся говорить на полном серьезе...

Мне ясно, что он неспроста вызывает меня на откровенность. Что им движет? Наверное, мы оба хотим понять и оценить друг друга. Конечно, ему пора приниматься за мое воспитание. Ха, шеф, наконец, вспомнил о своих обязанностях!

— Неужели ты не можешь понять, что не всякий человек хочет жить так, как, например, живешь ты? — спросил я Амантаева.

— Не понимаю.

— Ну, не увлекаясь нефтехимией, не возводя человеческие добродетели на пьедестал, думая не только о процентах выполнения плана или о Доске почета?

— Это тоже из кодекса Попугаева или на этот раз ты высказываешь самостоятельное суждение?

— Попугаев, по-моему, тоже не стал бы возражать против этого...

— Пожалуй, наш разговор становится интересным, — оживился Амантаев. — Итак, допустим: человек ничем не интересуется, нигде не работает, живет в свое удовольствие. Но есть-то он должен?

— Разумеется. Это, так сказать, закон природы.

— Выходит, что подобный тип хочет жить широко и беспечно, но не знает, где и как добыть средства на существование? Я тебе объясню — эти типы обычно живут за счет других. Вот какой идеал у тех, кто болтает об отсутствии у них идеала жизненного стимула, возвышенного стремления и даже естественного человеческого энтузиазма.

Меня, конечно, покоробил его резкий тон.

— Продолжай в таком же духе, — я криво усмехнулся. — Меня трудно обидеть. Но что касается основного предмета спора, я должен напомнить тебе: спартанцы, как это написано в книгах, честно презирали всякий труд, а нежелание работать они называли даже... любовью к свободе!

— Ты забыл, однако, что за спартанцев, ратующих за «любовь к свободе», трудились рабы! Когда за тебя сеют и жнут, то что же не пофилософствовать о

«свободе»! Один человек, которого я очень уважаю, некто Виктор Гюго, говорил: «Праздность — самое тяжелое бремя...»

Я промолчал.

— Я не имел намерения тебя обидеть, — проговорил он, овладев собою. — Это отвлекло бы нас от основного предмета спора.

Но он уже успел вывести меня из равновесия. Во мне все бушевало.

— Хорошо же, на откровенность отвечу откровенностью, — начал я. — Если хочешь знать, ты... ты ратуешь за то, чтобы подтянуть всех людей под какой-то общепринятый средний стандарт. Не так ли? А представляешь себе, что получится, когда восторжествует общепринятый стандарт передового человека? Жизнь одинаково передовых, одинаково умных, одинаково правильных — это же предел всеобщей скуки! Что до меня, я не хочу жить в подобной казарме. Я за то, чтобы люди были разные. Подавай мне Оводов и Отелло, Байронов и Бальзаков со всеми их положительными и отрицательными чертами, со всем тем, что выделяет их из толпы.

— Но ты и за Корчагина, за Мересьева, за Гагарина?

— Разумеется. Но не за то, чтобы все были Корчагиными... Вот ты издеваешься над Попугаевым, а он, если разобраться, в чем-то Гамлет. Это же истина, что каждая эпоха знала своего Гамлета! Если бы это было не так, судьба Гамлета не волновала бы нас сейчас. Почему этот шекспировский образ до сих пор живет на сцене? Только потому, что в каждом из нас сидит какая-то частица Гамлета. У одних больше, у других меньше. Где-то я читал: «Только то вечно, что живет в душе людей...»

Он умел смеяться заразительно.

— Я не знал до этой минуты, что генеалогическое древо ресторанных поэтов начинается с Гамлета! Это для меня откровение.

— Почему бы и нет? Худо-бедно, но все-таки я, кажется, сумел разъяснить свою мысль.

— Не совсем.

Я неопытен в теоретических спорах, быстро устаю. И какой толк в подобных дискуссиях? Только философы в спорах высекают искры, а я — не думающий человек. В конце концов, какое мне дело до всех этих Гамлетов? Ничего общего у меня с ними нет. Я — парень простой в том смысле, что рядовой.

Амантаев откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу. Теперь всем своим видом он как бы говорил: «Ну что ж, мы нащупали тему для спора. Потешим себя, поспорим!»

— А ты бы попробовал со своей этой философией выступить в цехе, перед ребятами.

Я замолчал. Уже не рад был, что ввязался в дискуссию.

13

Но человек, влюбленный в свою нефтехимию, не дал мне увильнуть от разговора. Спокойным голосом он начал развивать свою мысль о страсти к жизни, о полной отдаче делу и о том, что первый долг каждого человека в нашей стране — ускорить приближение коммунистического будущего. Как будто мне обо всем этом не говорили в течение всей моей жизни.

Тут я опять разъярился:

— Если уж ты затеял со мной спор, так будь добр, ответь на следующий вопрос. Кто, по-твоему, ближе стоит к коммунизму: начальник цеха — опытный инженер, эрудированный человек с кандидатским званием, остроумный и начитанный, или молодой рабочий, только что окончивший ремесленное училище? У начальника цеха, образованного, культурного человека, свой коттедж, и собственный автомобиль, и собственная моторная лодка. Не думай, что я так прост — понимаю, он получает по труду, кое-какую политграмоту я проходил. А тот парень — в нашей бригаде есть такой, даже не один — живет в общежитии, пользуется общей кухней, общей уборной, общим двором. Так вот ответь мне, кто из них ближе к коммунизму? Ведь близость или верность высоким идеалам не связана с пороками накопительства, с мещанским благополучием!

Амантаев напомнил мне, что сами по себе ни коттеджи, ни автомобили еще не могут помешать человеку жить честно и трудиться преданно.

Я уперся на своем.

— Что говорит теория о тех, кто вообще привязан к рублю и к даче?

— Ладно, отвечу, — сказал Амантаев. — Тебе не нужно объяснять, что ни талант, ни знание, ни должность сами по себе еще не предопределяют силу убеждения, нравственную чистоту, все то, что ты называешь «близостью к коммунизму». Быть может, именно твой товарищ, рабочий паренек, человек из общежития, будущий член бригады коммунистического труда, в данном конкретном случае ближе стоит к идеалам времени, чем иной начальник цеха или министр. В другом конкретном случае министр или директор может обла-

дать более возвышенной душой, чем рабочий паренек. Все дело в человеке! Я уверен, что идолов-накопителей, хапунов-гобсеков ждет возмездие. Их, безусловно, труднее будет перевоспитывать.

Амантаев улыбался уголками глаз, но я чувствовал, что назревает буря, самая настоящая!

— Ты не надумал ли ненароком, что коммунизм — это что-то вроде общего одеяла? — неожиданно спросил он тихим, я бы даже сказал, вкрадчивым голосом. — Делай, мол, под ним что хочешь! Озоруй как можешь!

— Чего не было, того не было, — ответил я примирительным тоном, а сам сладко-пресладко зевнул, всем своим видом демонстрируя, что, пожалуй, время прекратить затянувшееся назидание.

Его, видно, не устроил такой ответ. Уставившись на меня своим невозмутимым взглядом, он спокойно ждал, что я скажу еще. И я сказал:

— Коммунизм — это, по-моему, что-то вроде земного рая. Трудись, если хочется, гуляй, если вздумается. Если не ошибаюсь, так и написано на скрижалях: трудись по возможности, получай по потребности. Верно? Одним словом, полнейшая свобода намечается. При устройстве райских порядков первым делом, очевидно, отменят критику на собраниях и в прессе. Критика — дело болезненное, не будут же люди в раю зря трепать друг другу нервы. Вторым делом ликвидируют начальство. Зачем же в раю заведующие или управляющие? Сознательных людей, как я полагаю, не придется понукать, чтобы они отдыхали, когда им вздумается. В смысле еды — полный райский рацион, то же самое с предметами первой, второй и тысячной необходимости. Бери что приглянется. Я бы в том раю первым делом обзавелся красными носками, так как

сейчас Башкирский совнархоз нас этим не балует. Чего нет, того нет.

Носками, разумеется, я его дразнил. На кой мне эти носки!

— Ну и ну! — проговорил Амантаев, смеясь. — Кто же тебе обещал такую райскую жизнь?

— Все, кто волей или неволей были моими духовными отцами, вот кто! — я усмехнулся. — Все вы, седые и молодые, говорили мне и подобным детишкам, что за нас, детей своих, вы приняли муки, что на вашу долю выпало все: и холод, и голод, и война, и разрушения. А нас вы обещали застраховать от трудностей и испытаний. Может, я неправильно понял? Нет, правильно! Я же помню, как моя мама причитала надо мной: «Довольно того, что сама выстрадала. Ты у меня будешь жить счастливенько». Это было у нее вроде колыбельной песни. Разве школьные учителя не говорили нам то же самое? Они называли нас счастливым поколением. Ну, давайте вдумаемся: какое же мы счастливое поколение? Так же вкалываем, как и вы. Где обещанный рай?

Тут он, вижу, изменился в лице. Ему, вижу, не до смеха. Налил себе густого чая, свой любимый напиток.

— Рай — это детская забава, — сказал он, остановившись напротив меня со стаканом в руках, забыв сделать хотя бы один глоток. — Ты когда-нибудь наблюдал за тем, как девочки на тротуаре играют в «классы»? На асфальте они мелом рисуют «рай» и туда, в этот свой «рай», стараются добраться, подпрыгивая на одной ноге. Другого рая на свете нет. И не предвидится... Если ты хочешь знать, я никому никогда и ни при каких обстоятельствах не сулил рая.

— А что же ты, парторг, сулишь людям? Ад, что ли?

Он поставил свой стакан на письменный стол, жестко произнес:

— Ни ада, ни рая! Я обещаю борьбу. И на все будущие времена.

— Погоди-ка, — остановил я его. — О какой борьбе может идти речь? В книжках и брошюрах, какие мне попадались в руки, черным по белому написано: при коммунизме не будет никаких классов, никакого неравенства. Кто же и с кем будет бороться? Или пропагандисты неправильно толковали, или я чего-то не уразумел... Может, объяснишь?

Он, конечно, догадывался, что я прикидываюсь недорослем. Самый железный человек и тот бы не выдержал. А он и бровью не шевельнул. Вот дьявол!

— Отними у человека право на труд, на поиск, на мечту, на битву за счастье людей — он уже не человек, — проговорил Амантаев, отвернувшись от меня. Он смотрел в окно и будто не со мной разговаривал. Или он размышлял вслух? — Человек счастлив сознанием, что творит и созидает. Сохраняй в нем душу борца. Борец не подведет. Он не устанет. А рай в твоем понимании быстро надоест...

— Я там не был, судить не берусь...

— Вот, вот! — неожиданно поддержал меня Амантаев. — Я тебе расскажу одну поучительную историю об одной буржуазной стране. Это довольно сытая страна. Безработных в ней почти нет, тюрьмы почти пустые, у всех есть в принципе крыша над головой. Чем тебе не купеческий рай? Как же ведут себя люди в том раю?

— Откуда мне знать?

— Верно, откуда же тебе знать! А я вот тебе скажу, что множество людей просто-напросто начали сводить счеты с жизнью. По официальным данным, эта страна занимает одно из первых мест в мире по количеству самоубийств. Почему люди стали отказываться от жизни? Да еще сытые? Человеку мало одной сытости, мещанского благополучия, более того, ему вообще противопоказан рай! Ему подавай сильные идеи, нарисуй ему мечту на тысячу лет вперед, не смей его убаюкивать, усыплять, а тревожь призывай, веди...

— Но ты не ответил на основной вопрос, — перебил я его. — С кем ты советуешь бороться?

— Я, к твоему сведению, философ никудышный, — усмехнулся он. — Просто скажу тебе то, что думаю. Покорение природы — я имею в виду природу Земли и звездного мира — будет продолжаться вечно. Это раз. Во-вторых, предстоит упорная борьба с болезнями, борьба за долголетие человека. Борьба за полное и окончательное очищение человеческой души от предрассудков и грязи прошлого. Этой работы хватит не на одно поколение. Полное самоусовершенствование — такой океан, который мы не скоро переплывем.

Он начал проявлять горячность. Все-таки удалось мне расшевелить этого сухаря. И на том спасибо.

Но, ей-богу, мне этот спор надоел. Я сказал, позевывая:

— Что ж, мы поговорили об идеале времени и, кажется, навсегда отказались от мещанского рая. Теперь, может быть, ты позволишь мне заснуть?

Он махнул рукой, будто говоря: ну, надо же!

14

Меня будит шум в ванной. Значит, Амантаев делает обтирание. При этом он фыркает и сопит, как верблюд.

Потом ставит чайник на плиту.

Тут поднимаюсь и я. Пока делаю утреннюю гимнастику и умываюсь — подходит время завтрака.

На столе хлеб с маслом и кусок костромского сыра. Но бывают дни, когда мы успеваем поджарить яичницу и даже сварить картофель.

За ночь наговорились досыта, теперь молчим. Будто по уговору.

Просыпаются и соседи. Я слышу, как по нашей лестнице спускаются Майя Владимировна со своей дочерью Аленушкой. Голоса Майи Владимировны не слышно, зато девочка болтает неумолчно. Каждое утро она повторяет одно и то же:

— Мама, ты обещаешь мне, завтра поспим подольше?

Амантаев принимается мыть посуду, сегодня его очередь. Он сам установил такой порядок: дежурство через день. Я торопливо сбегаю вниз.

Сбегаю вниз и останавливаюсь зачарованно. Солнце, поднявшись из-за горных отрогов, уже успело раскинуть миллионы золотых ниточек по всему небу; жаворонки, глупые птицы степей, кувыркаются под синим куполом, взвиваются в поднебесье и, не найдя опоры в золотых ниточках солнца, срываются и падают, падают, пока не опомнятся у самой земли.

А потом они, будто разочаровавшись в мираже, улетают в степь, навстречу далям.

Жаворонки улетают, а молодые тополя остаются на месте, ведь они не могут взлететь. Вот отчего на

их листочках — слезы, которые почему-то принято называть росинками. Это деревья плачут.

Я опомнился, когда услышал девичий смех. Через наш квартал в соседний, тридцать восьмой, в этот час приходят строители. Деревенские девушки, по-видимому, еще не привыкли к брюкам, стесняются. Поэтому ходят гурьбою и беспричинно хохочут.

Откровенно говоря, брюки им не идут: зады толстые.

— Ну, пошли! — говорю я сам себе.

В семь утра просыпается почти весь город — каждый дом выбрасывает на улицу по нескольку человек. Это химики или строители.

Мне с ними по пути. У нас один-единственный трамвайный маршрут: город — комбинат.

Каждое утро, если, конечно, у тебя хорошее настроение, можно делать маленькие открытия.

Здесь, на углу, появился киоск, а там, смотришь, покрасили балкон; если тебя не интересуют новые дома, можно любоваться плакатами.

Я не знаю, кто сочиняет их: художник или сам секретарь горкома. Неведомый этот сочинитель, наверное, большой шутник или отчаянный романтик.

На стене магазина, у которого домохозяйки частенько стоят в очереди за свежей рыбой, появился, например, такой плакат: «Прежде чем рассердиться — сосчитай до ста, прежде чем обидеть другого — до тысячи!»

Попробуй после этого нахамить!

Я продолжаю свой путь к трамвайной остановке. И вдруг замечаю новый плакат: «Когда говорят о моих достоинствах — меня обкрадывают, когда говорят о моих недостатках — меня обогащают».

15

— А от древа познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в которой ты вкусишь от него, смертью умрешь, — слышится бормотание Катука.

Я теперь составил себе точное представление об этом типе — вот почему и не хочется называть его собственным именем. Пусть так и останется: Катук.

Если бы вы знали, до чего мне надоел этот библейский спектакль! Но абсолютно бесполезно пытаться остановить блудоречие Катука. Ну и черт с ним!

— Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя, — продолжает он гнусавым голосом. — Да будет у вас обрезан весь мужской пол.

Он может вымотать душу у кого угодно. Говорят, что он бывший священнослужитель, в силу каких-то причин отказавшийся от своего сана.

— Раньше у меня не было никакой позиции, — шутит он порою. — А сейчас я имею эту самую позицию.

...На первых порах, когда при мне заговаривали о каких-нибудь позициях, я невольно представлял себе окопы и траншеи, известные мне по учебникам и военным романам. Оказывается, наш цеховой термин с тем термином ничего общего не имеет. Наша «позиция» — это схема расположения оборудования.

А она, как выяснилось, достаточно сложна. Надо потратить по меньшей мере полгодика, прежде чем разберешься во всей этой позиции.

Теперь я, как бывалый производственник, легко жонглирую такими словами, как, скажем, «обкатка». Это слово обозначает проверку оборудования перед

окончательным пуском в эксплуатацию, нечто вроде генеральной репетиции.

Вот этой обкаткой сейчас в нашем цехе и заняты. Скоро должны запустить мощные компрессоры. Считанные дни остались до того момента, когда мы начнем производить мочевину.

Ждать, по правде говоря, уже осточертело. Однако приходится терпеть. Хозяйство сложное, каждый раз что-нибудь не ладится. Поэтому никак не можем уложиться в график.

В эти дни цеховое начальство почем зря клянет верхнее начальство, которое сидит в Уфе и как ему вздумается, так и распоряжается от имени совнархоза. Я слабо разбираюсь в экономической политике, но, по-моему, тут что-то неладно. Сами посудите: каменщики все еще не слезли с верхотуры, двор — весь в ямах, как после серьезной бомбежки, а нашу мочевину уже в план поставили. Значит, где-то кто-то уже надеется получить нашу продукцию, а ее нет. И не скоро будет.

Все говорят, что график сорван, а вот почему не уложились в сроки — не поймешь. В подобной ситуации, как авторитетно разъяснил Барабан, виновных никогда не оказывается.

Он точно в воду глядел: теперь строители кивают на монтажников, а те, в свою очередь, на поставщиков. Попробуй разберись! Я и не пытаюсь разобраться, не моего ума дело.

А разобраться все же стоило бы, не мне, конечно, а начальству... Все ждали, когда же начнет работать мощный кран. На собраниях кричали, что «кран — это задача номер один». В заводской газете с этим краном тоже связывали все надежды, без него, мол, нельзя приступить к монтажу компрессоров.

Ну вот, кран, наконец, смонтировали на самой верхотуре, почти у самой крыши. И тут выяснилось, что кран никак не хочет сдвинуться с места. Он оказался зажатым между стенами, в этом вся штука!

Теперь, как говорят, придется отодвинуть балки или сносить крышу. Тем временем график снова полетит ко всем чертям!

Понятное дело, когда начальство нервничает, достается и нам. Вот в этой неспокойной обстановке я, как и другие, перестал мыть полы и вообще перестал быть мальчиком на побегушках; теперь каждый приставлен к своему делу, потому что приближается пуск производства.

Однако мне не повезло. Теперь, когда стало больше порядка в цехе, за нас здорово взялись. Я попал в руки Валентина — так запросто величают у нас в цехе комсорга.

Если не брать в расчет выпуклые очки, то он с виду парень как парень. Общительный, умеет свистеть разные мотивчики, начитанный и вообще как-то располагает к себе. На его васильковые глаза и на широкий лоб мне, конечно, наплевать, пусть всем этим инвентарем интересуются девчонки. Это по их части.

Но, увы, насколько я понимаю, наши характеры противоположны, интересы, по-моему, тоже. С первого же часа Валентин стал командовать мною. Мастак он, как вижу, инициативу раскачивать да разглагольствовать. Демагогов я со школьной скамьи не выношу. Иногда мне хочется выступить с предложением: создать республику болтунов. Вот была бы потеха, на второй бы день они подохли с голоду, ведь не одним языком сыт человек!

В разговоре с Валентином выяснилось, что он и во мне ищет какой-то особой инициативы, а ее у меня не

наблюдается. Просто не хочется быть энтузиастом, и все.

На этой почве — и не только на этой — сразу начались у нас стычки; с его точки зрения, у меня обнаружились факты недисциплинированности, а с моей точки, у него — факты придирок. Я понял, что нам вместе долго не выдюжить. Кто-нибудь да от кого-нибудь должен отойти, это ясно как день.

Ежедневно возникали у нас какие-то проблемы, которые следовало немедленно решать. В связи с приближением сдачи цеха в эксплуатацию был издан приказ о всеобщем техническом экзамене.

Конечно, труднее всех пришлось мне. Сначала Валентин, как мой непосредственный руководитель, поднажал на теорию, почем зря гонял меня по физике и химии. К счастью, я не успел еще перезабыть все школьное. Но когда пришлось штудировать технологию производства, пришлось попотеть. Особенно не повезло мне на занятиях по технике безопасности. У химиков, как я понял, этот предмет самый предпочтительный.

Семь полных часов коллективно да плюс три часа вечером — вот какой режим установил для меня Валентин. Меня загонял до седьмого пота и сам дошел до белого каления. По-моему, тут сказалась его врожденная склонность повелевать. Можно было бы обойтись без этой страсти и азарта.

Но самое смешное, я чуть было не сорвался на экзаменах — перепутал подземные коммуникации, по которым в наш цех поступают аммиак и углекислота. Экзаменаторы покосились, но особых помех чинить не стали. Зато без всяких запинок удалось мне рассказать о службе сепараторов и выпаривателей, — это меня и спасло. Очевидно, я раздул в суровых инженерах искру надежды. После этого дело пошло как нельзя лучше.

Всю технологию производства раскрыл от первой до последней трубочки, доложил, как жидкий аммиак становится в нашем цехе кристаллическим порошком. Одним словом, сочинил вдохновенную поэму о сухой мочевине на зависть всем поэтам!

Повезло мне, иначе это не объяснишь, и на экзаменах по технике безопасности. Выручила наглость, если говорить по правде.

— В нашем деле необходима особая внимательность и абсолютная аккуратность, — проговорил я, смело глядя в лица экзаменаторов, — иначе пара пустяков взлететь в небеса. Потом ни своих, ни чужих костей не соберешь.

Я не знаю, что их подкупило. Страшную картину, нарисованную мною, они, кажется, приняли за сознание глубокой ответственности в деле безопасности.

Тут пришел конец моим испытаниям. Дело, думаю, в шляпе. Но неожиданно вмешался — кто бы вы думали? — Валентин. Он подбросил самый что ни на есть каверзный вопросик: пожелал, чтобы я рассказал о самой сути мочевины. Зеленой тоской повеяло на меня, честное благородное слово.

— Среди минеральных удобрений, известных до сих пор, не было и нет ничего равного мочевине, состоящей почти наполовину из азота, — проговорил я, силясь вспомнить все, что знал по данному вопросу. — Она незаменима как удобрение, она, кроме того, замечательный корм для скота. Промышленное применение ее только начинается, но, думаю, что уже сегодня десять отраслей индустрии не могут обходиться без мочевины.

Ответ был не блестящ, сам понимаю, но мне ничего не оставалось, как выпутываться. Вижу, экзаменаторы

еще чего-то ждут, и смело обращаюсь к «верхотурной помпезии»:

— Мочевина — это великий клад для земледелия. С ним не сравнятся никакие алмазные месторождения.

Я не понял, понравился мой ответ комиссии или нет, но меня оставили в покое. Скорее всего решили, что больше ничего из меня выудить нельзя.

Валентин не скрыл, что в общем остался мною доволен. Даже снизошел до похвалы:

— Про сепараторы ты ловко ввернул. Только жаль, что ничего не сказал о колоннах синтеза и предкатализа.

Он еще долго толковал о конденсационных колоннах да влагоотделителях, а мне это неинтересно. Не испытываю энтузиазма.

— Может, хватить, а? — проворчал я, когда терпение мое лопнуло.

Такой уж у меня несносный характер — подстраиваться к сильным личностям мира сего и подлизываться к ним не умею.

Не успели мы переступить через порог цеха, слышим — Катук развлекается:

— И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели расселимся по лицу всей земли. Люди хотели, чтобы вершина башни уходила в поднебесье и чтобы она поспорить могла с небом...

Заметив меня и Валентина, Катук весело улыбнулся, показав желтые зубы:

— Однако башня стала «символом людской заносчивости», слышишь, комсорг? И вот что совершил господь бог: и сказал он: вот один народ, и один у

всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал другого, и рассеял их господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню... Вот откуда началось разноязычье, и вот почему, комсорг, ты не понимаешь меня, а я тебя!

Все, кто был тут, засмеялись.

— Ты бы прекратил свою религиозную пропаганду, — нахмурился Валентин.

— Привычка, брат мой, привычка, никак не отстану. Но ты, комсорг, не бойся, тебя-то не распропагандируешь. За себя будь спокоен.

— Все шутишь? — окончательно рассердился Валентин. — Чтобы я не слышал больше твоей библейской агитации, понятно?

— Он же бывший! — усмехнулся Барабан. — Чего с него возьмешь.

16

...Вспоминаю далекое свое детство. Мне тогда было, по-моему, лет девять от роду или даже меньше.

— Ты бросался снежком? — спрашивает мама. — Ну, отвечай: бросался или нет?

— Я ему говорю — не кидайся, а он не перестает, — твердит дворник.

— Ну, кидался, — отвечаю я.

— Почему вдруг ты решил, что можно бросать снежком в дядю?..

— Все кидали, и я кидал.

— Кто тебя этому учит? Я?

— Нет, не ты.

— Учительница учит этому?

— И не учительница...

— Ну что же, извинись перед дядей дворником. Скажи ему: «Никогда больше не буду бросать снежком».

Я молчу. Уже в то время я был отчаянным упрямцем.

Так с полчаса она бьется со мной и никак не может добиться, чтобы я извинился.

Тогда она говорит:

— Вынеси из дома лопаты — деревянную и железную. Две лопаты.

Я побежал за лопатами.

— А теперь, — приказывает мама, — будем помогать дяде дворнику и вместе вымаливать у него прощение...

Так мы оба, мама и я, долго-долго расчищаем снег, я деревянной лопатой, мама — железной.

В то время я уже пытался по-своему познать мир, что меня окружает.

...Я и моя мама поднимаемся по лестнице. Я люблю держаться за ее руку, когда мальчишки нашего двора не видят нас. При них стыжусь. Все мальчишки стыдятся этого.

Лестница наша винтовая, кружит и кружит мимо дверей, до самого третьего этажа.

— Мама, а мама! — кричу я, забегая вперед, и останавливаюсь перед ней. — Почему в первой квартире нет ни одного мужчины?

В то время я интересовался только мужчинами.

— Отец Наташи остался на войне, — отвечает она.

— Он никогда не вернется?

— Нет, не вернется.

Мы проходим мимо второй и третьей квартир, поднимаемся до следующего пролета, на восемь ступенек выше.

— Из этой двери тоже не выходит мужчина.

— Муж тети Хадичи...

— Он остался на войне?

— Нет, не на войне...

— Я знаю, мама, где он остался! Он остался «там»!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Он сочинял стихи, ведь верно? Его отослали в безводные степи, ведь верно? И там он оставался тысячу дней и тысячу ночей, ведь верно?

Я это выговариваю одним духом, точно опасаясь, что она меня не дослушает.

— Хайдарчик, мой милый, не надо так говорить, — шепчет она, присев передо мной. — Сейчас же забудь, что ты сказал, ладно? Я тебя очень прошу.

— Ладно, мама.

— Кто же тебе рассказывает такие вещи?

— Большие мальчишки с нашего двора. Они все-все знают!

А вот сейчас я, взрослый парень, пишу ей:

«Здравствуй, родная!

Пора, пожалуй, мне, блудному сыну, отчитаться перед своей мамой.

Вот уже полтора месяца никто не будит меня по утрам и никто не подает на стол горячего кофе, все делаю сам и своими руками.

Сегодня мое домашнее дежурство. Оно обязывает к семи утра поджарить макароны и вскипятить чайник, а после завтрака убрать со стола и вымыть посуду.

Еще меня научили мастерски мыть полы, но, по-моему, это занятие для тех, кто боится ожирения. Это в прошлом. С тех пор как началась обкатка оборудования, нас всех отстранили от половых тряпочек, и, не скрою, это меня ужасно обрадовало.

Работаю дежурным слесарем в цехе, где вскоре из нефти начнут производить карбамид — отличное удобрение. Кроме нас, слесарей, тут вкалывают химики.

Пока машины бездействуют — мы, слесари, пожалуй, самые значительные личности, после монтажников, конечно. Но когда цех заработает на полную мощность, то верх возьмут операторы...

По-прежнему живу у моего шефа Искандера Амантаева, диван в его хоромах мне ничего не стоит — пока. На квартирную плату Амантаев не намекает. Надеюсь, однако, перейти в общежитие, как только представится к этому малейшая возможность. Я не вижу никакой необходимости (и радости) жить на его счет и в ущерб его удобствам.

Одним словом, работой обеспечен, и крыша над головой имеется. Какой матери не приятно получить такое письмо от поумневшего и ныне преуспевающего сыночка? После такой весточки любая мамаша, не раздумывая, побежит к соседям оповестить о том, какая она счастливая...

Однако, насколько я знаю тебя, ты не побежишь к соседям. Такое письмо просто не удовлетворило бы тебя. В нем есть факты и цифры, как в газетной заметке, но нет души. А это куда важнее, чем все остальное.

Вчера я видел падающую звезду. Она негаданно сорвалась с ночного купола и понеслась по небу, пока не упала, свернув себе шею, где-то за ближайшими отрогами гор. Так, во всяком случае, мне показалось...

Если бы в эту минуту ты была со мной, то непременно стала бы думать, как предотвратить подобные аварии в будущем. Ты бы, наверное, решила: для этого нужно просто-напросто привязать падающую звезду крепкими канатами к какой-нибудь другой звезде, заведомо устойчивой, чтобы небесные тела ни с того ни с сего не падали и не ломали себе шею.

Добрая моя и наивная!

Звезды будут падать, мама, их не удержать никакими канатами!

Ты однажды уже решила, что я — падающая звезда, и вручила мою судьбу Амантаеву... Я не знаю, откуда он пришел в нашу жизнь. И, кстати, этим не особенно интересуюсь.

Порою мне очень трудно с ним — ведь мы так непохожи друг на друга.

И все же я хочу понять Амантаева: он любопытнейший человек, в своем роде оригинал. Такого человека я не встречал в уфимской артели по производству кроватей и прочих скобяных изделий и вообще никогда не встречал.

Я частенько смотрю на него во все глаза и ловлю себя на мысли: в нем что-то есть от тебя. Может быть, в нем не самое лучшее, но, во всяком случае, и не самое худшее, чем одарена твоя душа.

Я сделал небольшое открытие — он из твоей касты, касты правоверных!

Помнишь, как ты упрекала меня, вспоминая свои комсомольские годы: «Вот когда были настоящие люди».

Я догадываюсь, точно такая же мысль вертится и на языке Искандера Амантаева, — он непременно когда-нибудь выскажет ее.

Когда мне стукнет девяносто лет, я тоже стану превозносить свою молодость, будь уверена!

За этот долгий срок, что мы не виделись, я успел от чего-то уйти, но и до чего-то не дошел... И сам не знаю, что со мной происходит.

Но обо всем этом я напишу в следующий раз, когда чуточку разберусь в самом себе. Ничего от тебя не скрою. Это обещает тебе твой сын.

Наверно, ты заждалась моих писем. А мне не то что было некогда, а просто не о чем было писать.

Ты услышала, как кто-то чмокнул губами? Это я поцеловал тебя, потому что ты единственная среди всех мам...»

Потом я отвечаю на письма Нимфочки:

«...Что-то тебя не пойму, Ним, ты все больше и больше удивляешь меня. Почему вдруг твоя тетушка нашла, что тебе пора замуж? Разве ты сама не находишь, что пора?

Если пришло время, выходи. О чем разговор!

По правде-то, тетушки в этом деле тоньше чувствуют и дальше видят. Может быть, они уже успели приглядеть тебе жениха? Ну, тогда дело за тобой.

Действуй!

И еще два слова. Не связывайся с кем-нибудь из твоих дружков. Ничего себе, миленькая компания. Среди них, по-моему, ни одного мало-мальски стоящего парня, одна хрустящая шелуха!

Меня так и подмывает посватать тебя кому-нибудь из наших комбинатских ребят, да вот беда, нет среди них никого на твой вкус.

Валентин, например, скучный парень. А тебе нужны веселые ребята. Барабан, может, и подошел бы, но его успела окрутить одна негодная бабенка.

Что касается меня, старого твоего друга, то мне ужасно в этой области не везет. Попытался защитить достоинство одной выдающейся женщины, вызвал на дуэль своего бригадира и был по всем правилам побит. Спасло меня только то, что на дуэлях сейчас не применяют огнестрельного оружия или шпаг, иначе пришлось бы тебе меня оплакивать.

Но я не склоняю голову, есть еще в нашем цехе одна такая Нагимочка, только боюсь, как бы мне из-за нее тоже не пришлось драться».

17

Ежедневно мне выдают по две бутылки молока, потому что наше производство считается вредным. Литр на нос!

Женатики, как правило, уносят молоко домой, не знаю как там, сами пьют или детишкам отдают. Это их сугубо личное дело, как сказал бы Валентин. Он, между прочим, неравнодушен ко всяким канцелярским словам вроде: «сугубо», «фактически», «целенаправленно» и т. д. и т. п.

Мне известно, что Барабан свою порцию молока обменивает возле пивного киоска на более потребимый напиток. Это тоже его сугубо личное дело.

Что касается меня, то я одну бутылочку выпиваю сам тут же, во время обеденного перерыва, а вторую безвозмездно уступаю Нагимочке.

Она у нас местная достопримечательность, прославилась на весь комбинат. Но не тем, что отличилась на производстве или какой-либо подвиг совершила, а тем, что от четырех незаконных мужей прижила че-

тырех незаконнорожденных парнишек. Одним словом, знаменитая мать-одиночка.

И что самое любопытное — никто ее пропащей женщиной не считает; просто-напросто сильно не повезло ей с мужьями, так у нас принято думать.

Про себя решил: бутылкой молока больше, бутылкой меньше, — меня от этого не убудет, а ей, гордой бедняжке, как-никак подмога. Пусть самая незначительная. И, как ни странно, на этой основе мы с ней крепко подружились.

— Если бы этот мерзавец поступил со мною как человек с человеком, я бы ему все простила, — говорит она мне, выкладывая свои душевные тайны. «Мерзавец», как я понимаю, один из ее бывших мужей. Она каждый раз сообщает мне что-нибудь в этом роде.

— А чем же провинился этот твой мерзавец? — спрашиваю я, хотя мне нет никакого дела до ее брачных историй. Ну, человек обращается к тебе, надо же поддержать разговор.

— Ты не смей его оскорблять! — вдруг вскидывается Нагима. — Какое твое дело, мерзавец он или нет?

Просто диву даешься, сколько в ней этой самой гордости. Ничего не понимая, смотрю на нее и думаю: а зачем же лезешь ко мне со своими тайнами? Кто тебя просит? И с аппетитом продолжаю уписывать булку с молоком. Тем временем незаметно слежу за ней: лицо у нее привлекательное, и вся она какая-то домашняя, уютная.

— Ну, чего уставился, как теленок на новые ворота? — чуть смягчившись, спрашивает она.

— Ладно, не стану хаять твоего ухажера, — говорю ей с улыбкой. — Только, пожалуйста, перестань ты мне рассказывать о своих сердечных делах.

— Нет, не увильнешь! Не перестану! Ты должен знать, какова ваша мужская порода, и вообще такие вы сякие...

Покорно молчу. Ей не терпится выложить мне свою последнюю неудачу. Нагимочка принадлежит к той породе женщин, которые считают, что о ее жизни должен знать весь цех. Она предпочитает жить на виду.

Пододвинув ко мне стул, она наклоняется в мою сторону.

— Была не была, расскажу, — говорит она.

— Валяй! — говорю я.

Ничего другого мне не остается делать.

— Не могу простить одного, — начинает Нагимочка сокрушенно. — Последний раз он гостил у меня двадцать четвертого мая, а уже на следующее утро, значит двадцать пятого, пошел в загс с другой. Выходит, что путался еще с одной. Разве я не понимаю, что стара для него, он только только из армии вернулся! Я даже невесту для него подыскала. Сама бы его, дуралея, женила на хорошей. Не дождался, поторопился, подлец!

— Довольно мерзкая история, — говорю я искренне. — В самом деле ничего в ней нет святого.

— Не подлец ли? — спрашивает она, точно желая утвердиться в своей мысли.

— Сразу видно!

— Знаешь, как я с ним поступила? — вдруг воодушевляется Нагимочка. — Иду, значит, по базару и вижу: «мой» под ручку со своей расписанной прогуливается. Постояли возле фруктового ряда — ничего не взяли, она, видно, капризничает. Даже свежих помидоров не купила. Так по всему базару за ними и ходила. А потом не выдержала. Приближаюсь к нему и говорю: «Здравствуй, дорогой мой! Купи-ка мне яб-

лочко, сынка твоего угощу. Ему ведь тоже витаминчики нужны». Спорить не стал, покраснел, побелел и покорился.

— Ну и ну! — мотаю головой. — Твоя выходка, помоему, неприлична.

— А обманывать женщину прилично? — перешла она в наступление. — И что ты можешь понимать в приличии?

Тут не избежать бы нам ссоры, но, к счастью, из-за щитов неожиданно появился Катук. Было похоже, что он подслушивал.

— Ну, чего тебе, старый хрен? — недовольно и высокомерно спросила Нагимочка.

— Ты бы с него алиментики... — посоветовал он, осмелев. — Пусть отвечает кошельком. Недурная мысль!

— Ну, чего не в свое дело лезешь? — рассердилась Нагима. — Насчет алиментиков я тебе вот что скажу: ни с кого ничего не требовала и не буду требовать. Сама родила, сама и воспитаю. И никто из соседей не скажет, что мои дети сироты, что живут хуже других...

— С подлинным верно! — ухмыльнулся Катук, стараясь как-нибудь выпутаться из неловкого положения. — А я что говорю!

По-своему она, гордячка, права.

18

— Подай зубило, — командует Барабан.

Я протягиваю ему инструмент.

— Куда только смотришь? — ворчит он. — И что ты мне сунул?

— Виноват, — говорю я, — не то схватил.

— Воротки!

Мы с ним на отметке «двадцать один» принимаем все узлы или, как это говорится по-научному, «обеспечиваем доводку для получения плотного прилегания соприкасаемых поверхностей деталей»...

Следом за нами дотошный Прохор Прохорович — это его участок.

— Нутромер, да поживее!

Внезапно на нашем этаже появляются Валентин и Вадим Пискаревский, помощник оператора. Что их сюда завело в неурочное время?

— Слушай, Пискаревский, как же ты умудрился ничего не ответить о колоннах предкатализа?

Вадим Пискаревский, видимо, опять сорвался на экзаменах по технологии производства. Тут же при нас Валентин по всем правилам устраивает ему разнос. Вижу, нервы у него никудышные, вот-вот сорвется. Но пока старается владеть собою. И ему это в какой-то степени удается.

— Ну что? Ославил на весь комбинат и молчишь?

Его страшит мнение комбината, а меня общественное мнение совсем не волнует. Пискаревского, по-видимому, тоже.

— Я не понимаю, чего ты раскричался? — отвечает Вадим невозмутимо. — Не сдал сегодня, сдам завтра, не сдам завтра — сдам через неделю. Какая разница? Подумай!

— Какая разница! — передразнивает Валентин, но тут же, спохватившись, добавляет: — Разница очень большая, милый Пискаревский. Подвел весь цех, опозорил!

Пискаревский хладнокровно пожимает плечами, хмурится, но ничего не отвечает комсоргу. Ему, наверное, лень поддерживать беседу.

Потом он вздыхает и говорит, как бы оправдываясь:

— Ну, как ты не понимаешь, не в ладах я с твоей техникой!

Он какое-то чужеродное тело в нашем славном цеховом обществе. Его зеленые брюки и оранжевая кофточка стали притчей во языцех, говоря словами Катука. В таком оперении ему только со стилягами слоняться, а не стоять возле циркуляционного компрессора. Не идет! Не соответствует! И баста! Позирует парень. Лицо бледное, взгляд томный, в походке нарочитая небрежность, как и подобает изысканному человеку, который никак не желает сливаться с массой.

А Валентин красив в своем негодовании. Плюнув под ноги, он демонстративно отворачивается.

Мы с Барабаном на время отвлекаемся от своих плашек и зубил и с интересом ждем, что произойдет дальше. Мне непонятно одно: зачем Валентин привел с собой Пискаревского?

Вот Валентин подходит к Прохору Прохоровичу. Старик делает вид, что очень занят и будто не замечает комсорга... Ничего не понимаю.

— Вы готовы? — начинает Валентин самым учтивым тоном. — Я вас спрашиваю: готовы или нет?

Со старым ворчуном приходится деликатничать, тут уж ничего не поделаешь.

— Я всегда готов, — сурово отвечает Прохор Прохорович.

— Отлично, — радуется Валентин. — Я так и знал, что вы уже готовы. Кстати, я привел вам подсменщика. Пока вас подменит Пискаревский. Вадим, поди сюда!

Франтоватый Вадим старику явно не нравится. И вообще Прохор Прохорович не в духе.

— Видишь ли, комсорг, меня никто не сможет заменить, вот в чем дело.

— Ну, ладно, не будем ссориться, — говорит Валентин миролюбиво. — По существу, и спорить-то некогда. Мы и так опаздываем.

— Я тебя, комсорг, не задерживаю. И не вижу необходимости задерживать. Иди себе с богом.

— Прошу прощения, как же прикажете вас понимать?

— В прямом смысле.

— Насколько я понимаю, вы отказываетесь идти на городской актив?

— Понимаешь, мой мальчик, я не могу оставить свое рабочее место.

— Если вы это серьезно, то я вынужден буду доложить руководству...

Валентин, надувшись, уходит.

— Ну, чего уши развесили? — кричит Барабан. — Веселее!

Вскоре появляется начальник цеха.

Еще от самых дверей Задняя Улица окликает старика:

— Тебя, Прохор Прохорович, вчера оповещали или нет?

— Оповещали.

— Раздумал, что ли?

— Раздумал.

— Что так?

— Ты мне, начальник, вот что скажи: о чем пойдет разговор на твоем активе? О том, чтобы лучше работать. Верно?

— Верно.

— Да ведь эту лучшую работу надо показывать здесь, в цехе. Подумали вы о том, что в рабочее время со всего города собираете пятьсот человек?

— Полноте!

— Не полноте! Не позволяет моя душа совершить такой проступок. Если можешь, оставь меня в покое.

— Ты рассуждаешь, как ребенок...

Задняя Улица все-таки ушел ни с чем.

Позже, на трамвайной остановке, кто-то за моей спиной произнес негромко:

— Дон-Кихот.

Я обернулся. Меня нагнал Пискаревский.

— Ты это о ком?

— О старике. Разве что-нибудь изменится от того, что он не пошел на актив? Ровнехонько ничего. Актив-то и без него проведут. По всем правилам!

19

— Ой, кого я вижу, — навстречу мне выбежала Аленушка. — Ура, к нам пришел наш бедненький мальчик!

Я протягиваю ей обе руки, мы церемонно здороваемся. А потом я усаживаю ее против себя, говорю:

— Добрый вечер, Аленушка. Я тебе в дяденьки гожусь, по всем данным самый нормальный дядя, а ты вдруг низвела меня в мальчики. Не ошиблась?

— Нет. Я ведь хорошо тебя знаю. Ты в пятьдесят седьмой квартире живешь?

— В пятьдесят седьмой.

— Вот видишь, ничуть не ошиблась.

— Все-таки я не понимаю...

Она заразительно смеется.

— Мама так говорит: «Это наш бедненький мальчик...»

Аленушке от силы четыре года. Тряхнув головой, она подмигнула серыми, как у ее мамы, глазами:

— Ссориться не будем, ладно?

— Ладно.

— Ты хорошенький! — говорит она, внимательно рассматривая мое лицо.

— Сочиняешь!

— Ничуть, — она лукаво улыбается. — Мама тоже говорит, что хорошенький... Хочешь, я буду называть тебя дяденькой?

Я несколько раз порывался зайти к Майе Владимировне, да все не решался. Не хотелось показаться навязчивым.

А сегодня решился. Аленушка, открывшая дверь, сказала, что Майя Владимировна должна вернуться с минуты на минуту.

Поболтав с девочкой, я хотел было уйти, но не тут-то было: она умела занимать гостя, как заправская хозяйка дома.

Как и подобает в ее возрасте, Аленушка перескакивает с одной темы на другую. Я едва успеваю следить за ходом ее мыслей.

— Афафочка — милая, а вот ее мама, ой, какая сердитая! — заявила Аленушка. — Она никак не хочет, чтобы Афафочка играла с мальчиками. Они ведь ужасные драчуны.

Я не успеваю сообразить, соглашаться или не соглашаться мне с этой суровой оценкой поведения мальчишек из детского сада, как Аленушка весело усмехается.

— Афафочка пока не умеет, а я уже умею ладить с ними. И ничуть их не боюсь!

— А как же ты ладишь с ними?

— Когда они ударят больно или сильно подергают за косички, я не плачу, я смеюсь. Будто мне совсем не больно. Я знаю: когда заплачешь — еще побьют, а когда засмеешься, им совсем неинтересно драться.

— Ну и болтушка ты! — говорю я ей.

— Мне и нужно быть болтушкой, — серьезно утверждает она. — После садика я ведь часто остаюсь одна; вот сама с собой и разговариваю, чтобы не расплакаться. И болтаю, и болтаю...

Внезапно открывается дверь, и на пороге появляется Майя Владимировна.

— О, кого я вижу! — говорит она вместо обычного «здравствуйте».

— Добрый вечер.

Сколько раз я давал себе слово не волноваться при встрече с Майей Владимировной! И всегда робею, как несовершеннолетний, даже самому противно.

— Забежал на минутку, чтобы попросить какую-нибудь книжку, хочется почитать новинку, и вот засиделся, как видите, — произнес я заранее подготовленную фразу.

— Ну и хорошо, что засиделись, — улыбается она. — Не скучали с Аленушкой?

— Нет, мама, нам совсем не было скучно, — тараторит девочка. — Ведь правда, дядя?

—Истинная правда. Нам было очень весело.

Теперь мне самая пора уходить. Уже десять часов, девочку пора кормить и укладывать спать. Чтобы оправдать свое появление, нужно взять какой-нибудь роман и пожелать милым хозяйкам спокойной ночи.

Но я остаюсь. Бывает же так! Сижу и слежу за тем, как Майя Владимировна кипятит молоко, варит манную кашу.

Затем она на диване стелет девочке постель.

«Эй, чурбан, вставай! — мысленно приказываю я себе. — Убирайся, пока не попросили!».

Но я не ухожу.

Саратова ходит по комнате, ласково взбивает снежно-белую подушку, наверно, пуховую, а потом усаживает Аленушку за стол...

Аленушка, пожелав мне и маме спокойной ночи, преспокойно укладывается спать. Дальше задерживаться просто неприлично.

— Вы ужинали? — спрашивает меня Майя Владимировна и тут же отвечает сама: — Конечно, нет. С вашего позволения, я поставлю на плиту чайник, через пять минут вскипит.

Ужинать отказываюсь наотрез. Еще этого не хватало!

— Пожалуй, я пойду.

Она улыбнулась.

— Посидите немного. Время еще детское...

— Аленушка, кажется, заснула...

— Она у меня молодец! А скажите, Хайдар, вы похожи на свою маму? У нее такой же угловатый характер? И такие же хмурые брови?

Это еще что за вопрос?

— К счастью, — говорю я ей, — матерям не дается угловатый характер... И брови ее не похожи на мои.

Усевшись против меня, положив одну руку на другую, Майя Владимировна весело говорит:

— Итак, последнее слово осталось все-таки за окислительным пиролизом!

Я с недоумением смотрю на нее. Такой внезапный переход...

— Ах да! — спохватывается Майя Владимировна. — Вы, наверно, не в курсе дела. Но я вам поясню, это интересно.

И она говорит, говорит о том, как одна из печей расщепления термического пиролиза была подготовлена для окислительного процесса и вот, наконец, достигнут выдающийся успех: впервые на промышленных установках новым методом получены бензол и этилен. Впервые в нашей стране!

И втолковывает мне, во сколько раз метод окислительного пиролиза повысит производительность печей, говорит о более низких температурах. Потом о какомто шамотном кирпиче.

Не скрою: мне становится тоскливо. От таких разговоров и дома деваться некуда. Майя Владимировна, наконец, видит, что меня не интересует пиролиз.

— Вам скучно со мной. Ведь правда?

— Неправда, — отвечаю я. — Почему вы так подумали?

Мне хочется спросить: что хорошего вы нашли в Амантаеве? Почему вы приходите к нему в дом? Неужели у вас нет гордости? Будьте же царицей! Царицей над нами, мужчинами, над всеми вместе!

Но вместо этого я говорю:

— Спокойной ночи!

Встаю, иду к двери. Майя Владимировна улыбается мне вслед. Очаровательная женщина, которая не желает быть общей царицей. Мне кажется, улыбка у нее чуточку грустная.

Уже на лестничной площадке говорю себе: «Не стоило ей поступать в институт тонкой химической технологии. Из нее, честное слово, получилась бы первоклассная кинозвезда!»

20

Однажды Лира Адольфовна сказала мне:

— Женщина обречена на осуждение. Что бы она ни сделала, как бы ни поступила, ее все равно осудят.

Может быть, она права. Об этом я никогда не задумывался.

В другой раз, услышав какую-то сплетню о нашей Нагимочке, она неожиданно проговорила:

— Если уж на то пошло, простить — это значит восстановить справедливость!

Умение прощать свойственно только благородным душам. О том ли она говорит, так ли я ее понял?

Она не глупа, но ум, очевидно, не мешает ей флиртовать с Барабаном. Теперь весь цех это видит. Только один человек, сам Доминчес Алонсо, в жилах которого течет барселонская кровь, не замечает этого. Или делает вид, что не замечает?

В этот поздний час я вместе с Доминчесом помогаю монтажникам разбирать огромное, высотою в три метра, рабочее колесо. Оно почему-то дает вибрацию, а это вызывает опасение приемочной комиссии.

— Мне что-то не нравятся лопатки лопаточного направляющего аппарата, — возбужденно говорит Доминчес. Его хлебом не корми, только дай какую-нибудь сложную техническую задачку!

Моя помощь никудышная. Одним словом, второй помощник третьего заместителя. Основную работу исполняют монтажники и мой друг Доминчес. Я подаю ключ, когда в этом есть надобность, или подпираю плечом, если просят.

Мы так увлеклись поршневым компрессором двойного действия, что и не заметили, как пролетел рабо-

чий день. Доминчес умеет увлекать других, он мастак по этой части, что правда, то правда.

Вдруг к нам подходит тетя Саша. Мы с удивлением оглядываемся на нее.

— Помогать пришла? — улыбается Доминчес, откладывая гаечный ключ.

У нас у всех ключи обмедненные, не дающие искры во время работы. В наших цехах шутить с огнем опасно. Малейшая неосторожность — и по меньшей мере жди взрыва местного значения...

— Право, Доминчес, не мое дело тебе указывать, но смена наша кончилась, — произнесла тетя Саша, явно чего-то не договаривая. — Взял бы свою жену под ручку и пошел бы домой, как это делает мой Прохор Прохорович.

— Надеюсь, ничего дурного с моей женой не случилось? — рассмеялся Доминчес.

— Чего же дурного с ней может случиться? Просто беспокоюсь о твоем отдыхе.

Я смотрю на нее и думаю: тетя Саша — справедливый человек. Но почему-то с первой же минуты она невзлюбила Лиру Адольфовну.

— Спасибо за вашу заботу, — Доминчес натянуто улыбнулся. — Тем не менее оставим эти разговоры. У нас и дела-то на полчаса. Верно, ребята?

Мы киваем головами, и он снова тянется за гаечным ключом.

Но едва тетя Саша скрывается из глаз, как Доминчес вскакивает на ноги и, не выпуская из руки ключа, бросается на четвертый этаж. В таком состоянии он может натворить черт знает что! Я кидаюсь за ним.

Нагоняю его уже на отметке «двадцать восемь». Возле двери, распахнутой настежь, Доминчес останав-

ливается. На нем лица нет... А там, в нескольких метрах от нас, разговаривают Барабан и Лира Адольфовна.

— Испанца своего не боишься? — спрашивает каким-то не своим голосом Барабан. Он стоит неподалеку от нас, за сепаратором. Отсюда видно его плечо, и на нем рука Лиры.

— Все, что мое, — то мое: и тело и душа, — со смехом, заносчиво говорит Лира Адольфовна. — Я сама себе хозяйка. Никому не позволю встать поперек моего пути...

Я сжимаю руку Доминчеса и отнимаю у него тяжелый ключ. К моему удивлению, он не оказывает никакого сопротивления. Освободившейся рукой вытирает пот с лица, оставляя на лбу грязный масляный след.

Мне становится страшно: в его глазах — знойный холод и неуютная пустота.

21

Не спится.

Он опять пишет что-то. Я никогда не заглядываю в его папку: ценю и уважаю чужую тайну. Но все-таки меня распирает любопытство. Письма? Статьи? Воспоминания?

На стене — силуэт склонившегося над столом человека. Высокий покатый лоб, правильный нос.

Я прислушиваюсь. Весь дом спит. Устала и улица.

Тишина. Только перо скрипит по бумаге, только ровно дышит человек, склонившийся над столом.

Время от времени Амантаев перестает водить ручкой, подолгу сидит, задумавшись, или вдруг поднимается и осторожно крадется на кухню за стаканом холодного чая.

«Бережет мой покой, — думаю я. — Но зря ты стараешься! Сон пропал, вот в чем дело.

Может быть, из-за Доминчеса?»

И крепко-крепко жмурюсь, чтобы забыть страшные глаза испанца. И затыкаю уши, чтобы не слышать голоса его жены: «Все, что мое, — то мое...»

Внезапно Амантаев поворачивается ко мне.

— Ты не спишь?

— Не сплю.

В последнее время мы с ним встречаемся очень редко: если он не в командировке, то обязательно у него какое-нибудь вечернее мероприятие. Не видимся целыми днями, а то и сутками.

— Мне тоже не спится... Видишь ли, какое дело, от стыда заснуть не могу!

— От стыда? Не понимаю, — говорю лениво.

— Да, да, от стыда, — повторяет Амантаев. — Видишь ли, какое дело, сегодня случайно попал на бабий митинг.

В первый раз вижу, чтобы Амантаев был так сильно расстроен.

— Сегодня, как известно, не восьмое марта.

— Нет, не восьмое марта, — соглашается он.

— Что ж за митинг?

— В полдень Южный поселок остался без воды. Третий раз за месяц. Ремонтники, эти ослы, никого не предупредив, снова отключили всю сеть. Женщины, естественно, подняли шум.

— Это уж, как я понимаю, никакой не митинг, а бабий бунт.

Я нарочно подчеркиваю слово «бунт», так как отлично знаю, что его, Амантаева, всегда тошнит от подковыристых слов.

Но на этот раз он не стал меня переубеждать, не стал спорить.

— Пусть будет по-твоему, — безразлично произносит он. — Бунт так бунт... Звонит мне первый секретарь горкома. Спрашивает: «Ты знаешь, Амантаев, что Южный поселок сидит без воды?» — «Нет, не знаю», — говорю ему. «А следовало бы, между прочим, знать, — напоминает он. — Ведь вы шефствуете над поселком?» — «Мы, — отвечаю. — Наш цех». — «Вот что, — вдруг предлагает он. — Возьми-ка с собой депутата и айда на место! Выясни, в чем дело, устрани безобразие, а потом доложи мне. Все ясно?» — «Ясно», — отвечаю. Звоню депутату, избраннику Южного поселка, а им является старший инженер Булгаков, объясняю ему, что следует нам выехать на место. «А что я там не видел? — возражает Булгаков. — Идет ремонт водораспределительной сети, только и всего. Скоро закончат чинить, вода будет». Я не стал его слушать, приехал, вытащил из кабинета. Он отправился в поселок на своей машине, я — на своей. Жара, сам знаешь, — выше тридцати градусов в тени. Как и надо было ожидать, женщины собрались возле колонок. Сначала слова вымолвить не давали, шумят — сперва воду давай, а уж потом — агитацию! Пробовал объяснить, что идет ремонт, не слушают. Зову Булгакова — не идет. Подошел я к машине, вижу — спит. Видимо, пропустил за обедом сто граммов, вот на жаре его и разморило. Разбудил, поднял его...

Женщины, конечно, еще пуще разозлились. Я сочувствую им, легко ли в такую жару без воды. Но и Булгакова погубить не хочется. Отличный инженер,

хороший человек. За этот поступок, конечно, мы с него взыщем, а пока... Вот положение! Пришлось объяснить женщинам, что он заболел. Мерзко обманывать людей, до сих пор краснею, но что мне оставалось делать? Перед народом стыдно. Как бы ты, Хайдар, поступил на моем месте?

Молчу. В самом деле, откуда я знаю, как бы я поступил!

— В это время подали воду... — добавляет он.

— Все-таки лгать не нужно было, Амантаев, — говорю я. — Как это понять с точки зрения этики?

Амантаеву не сладко. Кто-кто, а я-то знаю, что он честнейший человек.

— Обстановка заставила, — с досадой произносит он. — И стыд!

Я не стал его дразнить... Вообще у меня пропадает желание задавать ему каверзные вопросы. Вскоре он заснул, а я нет. «А как бы, в самом деле, поступил я на его месте? Конечно, сделал бы так же, если бы догадался. Но я не нашелся бы. Растерялся бы, и только!»

Действительно, какой толк, если бы из чистоплюйства я сказал, что депутат в самом деле выпивши. Что бы это поправило? Во всяком случае, вода не побежала бы по трубам.

...От Амантаева я перекинул мостик ко всему его поколению. Попугаев, например, говорит, что старики, мол, трудное поколение. Я как-то не задавал себе таких нелегких задачек, может быть, не хотелось думать, а может быть потому, что жизнь не сталкивала меня с седыми людьми. Дело, видимо, не в том, седой человек или у него молодая шевелюра, а в том, думает ли он по большому счету или по маленькому...

Разумеется, с комбинатским начальством я не об-

щаюсь. Это, так сказать, высший круг. Избранное общество, что ли... Однако нет-нет да слышу кое-что. Вокруг имени начальника комбината Ивана Андреевича Седова начинают слагаться легенды.

Раньше он будто бы работал в Москве, был каким-то большим чином в министерстве. И вот по собственному желанию взял и приехал в наш город.

Рассказывают, когда он ехал в Башкирию, какой-то тип в поезде сказал ему:

— Добровольно решился? Не может быть этого! Сюда едут только те, кому все пути заказаны. Здесь запить можно... Грязь... Невежество...

И на это, как передает легенда, Седов ответил:

— Место глухое? Ну что ж, человек на то и человек, чтобы преображать жизнь.

Его семья отказалась следовать за ним... Седов приехал один. Еще один повод для восхищения!

Амантаев как-то рассказывал мне, что Седов, будучи уже заместителем министра, имея высшее техническое образование, поступил на вечернее отделение филологического факультета Московского университета.

Человек он, видно, беспокойный. Среди ночи запросто может позвонить любому из своих подчиненных и рассказать о каких-нибудь технических проектах. А смелость этих проектов, говорят, на грани фантастики.

Признаться, я подумываю: старику не спится, вот он и обзванивает всех, борясь с бессонницей. И все ахают и охают. А что надо сделать? Надо запретить старику беспокоить других в часы отдыха и сна! А может быть, и не так?

Может быть, такие старики нужны повсюду, особенно там, где трудно. Для примера, что ли... А может быть, просто для того, чтобы люди не закисали?

22

И надо же было случиться так, что на другой день Амантаев пришел к нам в обеденный перерыв в качестве официального лица. Парторгу хотелось, по-видимому, прощупать почву: готовы ли мы бороться за звание бригады коммунистического труда?

Поначалу я растерялся. Ну, какой толк говорить с нами о высоких принципах?

Послушал, послушал я Амантаева и попросил слова. Смешно, конечно! Все удивились, но в слове не отказали.

— Сами посудите, какие же мы кандидаты в коммунистическую бригаду? — брякнул я напрямик. — Я сам шалопай, каких свет не видал. Или возьмем нашего бригадира. За неискорененную любовь к рукоприкладству он отсидел положенный срок полностью. Или остановимся на твоей кандидатуре, товарищ, — я повернулся к Катуку. — Живая библия, да и только! Если мы с ним поедем, то куда доедем, догадаться не трудно. О женщинах ничего плохого не скажу. А что касается Карима и Салима, то они же молокососы, одно слово — ремесленники!

Что тут поднялось! Оборвали, конечно. Да я и сам перестал говорить.

Парторг с трудом водворил порядок: так все кричали, так размахивали кулаками. Они расценили мое выступление как хамство.

— Не можем же мы вступать в соревнование, товарищи, понося друг друга на чем свет стоит, — сказал Амантаев с улыбкой. — Не с этого надо начинать!

Наконец успокоились. Я уже не слушал других. Они вдруг начали доказывать мне и друг другу, что все они отличные ребята. Смешно!

...После работы я возвращался домой в сопровождении Прохора Прохоровича. Тот сказал, что идет в горком. Отныне мы оба члены новоиспеченной бригады, которая начинает соревноваться за звание бригады коммунистического труда.

— В твоем возрасте, неразумный и необузданный молодой человек, — бубнил он, как только мы сошли с трамвая, — люди моего поколения были более зрелыми. Мы создавали колхозы. Боролись с кулачеством.

— Какое открытие! — я сделал удивленное лицо. — Ну, создавали колхозы, и спасибо вам за это. Памятник хочется, что ли?

— Что ты несешь? — изумился он в свою очередь. — Без нас не было бы ни Магнитогорска, ни Днепрогэса!

— Разве вы сами лично построили Магнитку?

Он обиженно промолчал.

— Ты одет с ног до головы, а мы в твои годы ходили в лаптях.

— Это, конечно, жалко. В сапогах ходить удобней.

— Да не было их, как ты не понимаешь!

— Но лично я, смею вас уверить, не виноват в том, что в ваше время нельзя было достать сапог. В наше время обуви достаточно.

Старик не ожидал от меня подобной выходки. Он как-то поник от обиды, замолчал, долго качал головой, а потом, не попрощавшись, завернул за угол. Мне его даже жалко стало!

Зря обидел старика! По всему получается — я неблагодарный наследник. Но с другой стороны... Доведись мне попасть в аналогичные условия, разве я не

выдержал бы голода и холода? Отлично бы выдержал, никуда бы не делся! Мы же одно племя!

И еще я думаю: если встать на позицию Прохора Прохоровича, то мне придется попрекать своего будущего сына, почему он не строит химические комбинаты, не вдыхает серные газы, почему не моет полы или не дерется с Барабаном из-за его паскудного бахвальства.

К тому времени, когда мой наследник встанет на ноги, жизнь будет еще лучше. Вот что нужно понимать.

Подходя к дому, невольно задерживаю шаги. Амантаев, конечно, возмущен моим выступлением в бригаде. Может быть, и старик Прохор успел пожаловаться? Все к одному. Я тяжело вздыхаю: не избежать мне «бани»!

Дался мне этот Амантаев!

Вхожу — он молчит. Раздеваюсь — ни звука. Начал обед готовить — полная тишина. «Бани» все нет. И разноса...

Осадой он, что ли, хочет взять меня?

Я держусь, пока могу. А когда лопнуло терпение, честно спрашиваю его:

— Почему ты терпишь? Не перебиваешь меня, когда я начинаю дерзить. Не остановишь, когда лезу на рожон. Я ведь понимаю, что с твоей точки зрения и с точки зрения любого здравомыслящего человека я несу несусветную чушь, произношу порою почти богохульства. Почему ты в конце концов не рассердишься, не прикрикнешь, не ударишь по зубам? Все это выше моего разумения.

Он впервые, наверное, смотрит на меня очень серьезно.

— Тех, кто ищет, не бьют по зубам. А ты начинаешь мыслить, сознаешь, что тебе еще многое необходимо познать. Это добрый признак.

Я хотел перебить его и спросить напрямик: «Почему ты вдруг решил «на закуску» преподнести оду в мою честь?», но он не сделал паузы, и мне просто не удалось вставить словечка.

— Тебе еще идти и идти по дороге, которая ведет к совершенству, — добавил он, — но ты идешь правильно. И я уверен теперь, что ты не свернешь в сторону, не попятишься назад, не станешь рисовать зигзаги, если встретишь на своем пути препятствия и трудности. А это очень важно!

Своим тихим, будто спокойным голосом он умеет так говорить, что не успеешь очухаться, как попадешь под его власть.

23

...И тут я встретил девушку — ту самую, у которой глаза, как Азовское море.

— Признаешь? — спросил я.

Она чуть задержала взгляд на моем лице.

— Как будто признаю... Не с тобою ли встретилась возле управления комбината? По-моему, с тобой.

— Не ошиблась. И на том спасибо.

Вижу, встреча Айбику и не обрадовала и не огорчила.

— Устроилась? — поинтересовался я.

Все-таки любопытно знать, как сложилась ее судьба.

— Устроилась, да не там, где хотелось. Я теперь крановщица. Все это время, конечно, на курсах обучалась.

— Значит, трудимся на верхотуре?

— На самой.

— Выше всех вознестись захотелось?

— Сначала, ой, как непривычно было! Да и сейчас порой голова кружится. Шутка ли, двадцать метров над землей. А я ужасная трусиха.

— Особенно трусим, когда налетает ветер?

— Кажется, будто на ветке сидишь, а тебя мотает во все стороны. Я, когда маленькая была, на яблоню боялась влезть.

Айбика в форме, теперь строители неплохо одеваются. Модная блузка на больших пуговицах. Красивые шаровары.

— А я уже не надеялся с тобой встретиться, — сознался я. — Будто в воду канула, ни слуху ни духу. Подумал, уж не вернулась ли ты обратно в свои горы?

Она промолчала. Даже бровью не повела, настолько я был ей безразличен. А говорил я искренне.

Не люблю навязываться. Я уже собирался уйти, но она вдруг взгромоздилась на кучу бетонных плит и сказала эдаким приятельским тоном:

— У меня в запасе четверть часа. Э-эх, была не была, до начала вахты поболтаем!

У нее и профессиональная терминология появилась. И жестикулирует размашисто. Всего-то семнадцать лет, а хочет казаться бывалым человеком. Умора!

— В тот день, когда мы с тобой познакомились, я тоже устраивался на работу, — признался я, чтобы заинтересовать ее чем-нибудь.

— Устроился сразу?

— Да отчего же не устроиться? До сих пор народ набирают.

— Где же ты теперь?

— В первом цехе.

— Да ну! — удивилась она. — Вот так приятное совпадение! Через неделю я буду работать на ваш цех. Будем достраивать грануляционную башню. Крановщика Сабирова знаешь?

— Не знаю.

— Это не беда. Одним словом, буду работать рядом с вами.

— Приятно слышать, — отвечаю, как и положено воспитанному человеку.

— У меня, — продолжает Айбика, — в вашем цехе один знакомый есть.

— Кто же?

— Валентин.

— Комсорг, что ли?

— Комсорг. Мы с ним на активе познакомились.

Вот те на! Валентин старается показать, будто он не от мира сего, а красивую девчонку сразу заметил.

— С квартирой устроилась?

— Пока в общежитии. Тесновато, но жить можно.

Мне хочется спросить Айбику, можно ли с ней встретиться и вообще, но тут какой-то мужчина окликает ее — наверное, бригадир ихний:

— Эй, Айбика, опоздаешь!

Она срывается с места.

— Погоди, Айбика!

— Некогда, сам видишь.

— Постой, говорю тебе. Ты, я вижу, не только на верхотуре, но и на земле трусишка.

— С чего ты это взял?

— Не успел бригадир окликнуть, как уже собралась бежать.

— Вот назло тебе и не побегу, — тряхнув головой, она машет бригадиру. — Дойду сама, не маленькая.

Молчим.

— Послушай, Айбика. Мы с тобой знакомы вроде не первый день. И ни разу не встречались. Может, сходим сегодня в кино?

— Нет, не могу.

— Уже была на «Морском дьяволе»?

— Не была. Просто занята.

— Свидание, что ли?

— Не чуди. Каждый день какое-нибудь дело находится, сам понимать должен.

— А завтра?

— Буду на слете молодых строителей.

— Послезавтра?

— Надо возиться с детишками.

— С какими такими детишками?

— Ну, вожатой утвердили. Разве у вас не утверждали?

Я молчу. Я ведь не знаю, что делается у наших комсомольцев. Сознаться, что я из внесоюзной молодежи, как-то неловко. А сам думаю: не может быть того, чтобы не оказалось у нее ни одного свободного вечера.

— Ладно, не хочешь встречаться, не надо, — говорю ей. — Значит, не судьба дружить с тобой. Прощай, Айбика.

Теперь она сама окликает меня.

— Ты не сердись. Ладно? — И она поднимает на меня два Азовских моря.

— Итак, когда же встретимся?

— Не знаю.

— Воскресенье-то у тебя свободное?
— Ну, свободное.
— В шесть ноль-ноль приходи к почте. Не забудешь?
— Нет, не забуду.
— До свидания, Айбика.
— До свидания... А я не знаю, как тебя звать!
— Хайдар... Хайдар Аюдаров. Запомнишь?
— До свидания, Хайдар.
— В шесть ноль-ноль...
— В шесть ноль-ноль...

24

В воскресенье около двух часов кто-то постучал в мою дверь. Открываю и кого же вижу — Нимфочку! Ничего не скажешь, сюрприз.

— Хорошо сделала, малютка, — обрадовался я. — Правильно сделала, что приехала.

— Не торопись радоваться, — усмехнулась Нимфочка. — Может, я не к тебе приехала, а к родственникам погостить.

Но я-то знаю, что она просто-напросто цену себе набивает.

— Проходи. Что же остановилась на пороге?
— Удобно ли?
— А что?
— Ты же не один...
— Можешь не беспокоиться, мой шеф уехал в Уфу. У него там два начальника, один по всем данным смелый человек, а второй — трус. Так вот этот второй ничего не решает, и единственное, чего ему хочется, — это, чтобы подчиненные ни в чем не ошибались.

Такая у него цель в жизни. С таким руководителем, конечно, рано или поздно пропадаешь. Амантаева вызвал этот самый начальник. Поэтому мой благодетель и попечитель не скоро вернется.

Нимфочка не особенно внимательно меня слушала. Придирчиво оглядела всю нашу квартиру и осталась ею довольна.

— Жить можно!

Она удобно расположилась на моем диванчике и положила ногу на ногу. Я сел напротив.

— Письмишко мое получила? — в упор спросил я.

— Да, конечно.

— Понравилось?

— Как тебе сказать? Тетке оно совсем не понравилось.

— А тебе?

Она неопределенно пожала плечами. Значит, замужество не состоялось.

Молчим.

— Я теперь в коммунистической бригаде состою.

— Не смеши! — оживилась она. — Вот нисколько даже не верю.

— Ну, пока еще не настоящая бригада, только за звание боремся. Но все же...

— Вижу, усы сбрил, — замечает она во мне перемену. — Теперь в моде борода.

Мне как-то смешно становится. Не хочу ей объяснять, но я отошел от этих ребяческих забав. Зачем человеку борода? Не пещерные же мы люди!

Притворно вздыхаю.

— Тут у нас как-то не принято. По правде говоря, и техника безопасности запрещает. Борода может легко воспламениться в случае взрыва или пожара.

Нимфочка понимает, что я нарочно несу чепуху.

Она умеет кокетничать, это ей как-то даже идет.

— Вижу, ты меня успел разлюбить, — говорит она. — Даже не поцеловал по случаю встречи...

Мне хочется ей сказать откровенно, что у меня что-то где-то перевернулось — в том смысле, что я сам себя не понимаю. Но я молчу.

Она принужденно смеется.

— Я пошутила. Да тебе и не надо, мой милый, оправдываться. Я раскусила тебя, когда получила твое письмо. Тебя взяли в ежовые рукавицы. Вот в чем дело.

— Послушай, ты, наверное, еще не обедала. Хочешь, собственными руками обед приготовлю? Тут у нас самообслуживание. Картофельный суп могу сварить. С мясными консервами. Пальчики оближешь.

— Спасибо, мой милый.

Как это она говорит! Мне даже становится жалко ее.

— Признайся, есть все-таки хочется?

Нимфочка начинает ходить по комнате, останавливается перед зеркалом — поправляет волосы, отходит к столу — берет сумочку.

— Если тебе не запрещает твоя Нагимочка, может быть, в ресторан пойдем?

«Эх ты, дурочка!» — думаю я.

— Что ж, в ресторан так в ресторан. Пошли...

Не успели мы занять стол, как к нам подсел какой-то фронтовик. У него любимый тост: «За отчаянный саперный батальон». Сначала мы терпели его, а потом надоело.

Нимфочка была в том же костюме, в котором провожала меня на уфимском вокзале. Парадный полумальчишеский вид. Выпила она изрядно, с ней это

бывает. И стала строить глазки кому попало, уж такая натура, ничего она с собой поделать не может. И вдобавок стала выставлять напоказ свои коленки. Когда она выставляет их на всеобщее обозрение, приятного мало. И сам не знаю, отчего меня стало мутить.

— За нашу родную Уфу! За возвращение! — Нимфочка подняла рюмку.

Если бы не эти выставленные напоказ коленки, я бы, очевидно, поддержал тост, но тут я заартачился:

— Никуда я отсюда не поеду.

— Поедешь!

— Не поеду. И оставим это. Лучше скажи, как живет Попугаев.

Она неопределенно махнула рукой.

— В последнее время стихов не пишет. Готовит какую-то лекцию: «Самопроникновение или самоистощение». Ты со мной все-таки уедешь. Ведь верно?

— Нет и нет!

— Да и да!

Даже официантки стали поглядывать на нас. Еще немного, и нам не миновать бы ссоры. В это время, к счастью, в ресторан шумной ватагой ввалились какие-то местные ребятишки. Знакомая картинка: шесть ломак. Они устроились за соседним столом.

Девчонки вели себя, как заведенные: то смыкают пятки, то носки; кривляются даже без музыки. У всех синие островки под глазами. А каждой, пожалуй, не больше шестнадцати лет!

Провинциальные шалопаи были уже навеселе. Один из них барабанил по столу негритянский тамтам. И ничего при этом не говорил, даже не мычал. Второй насвистывал. А третий мрачно молчал. Такой



тип всегда встречается в подобной компании, для контраста.

Девочки наравне с мальчишками пили водку и курили. Выпустят перед собою много-много дыму и вдруг втягивают его через рот, чтобы через секунду выпустить через нос. Тут нужна, конечно, большая практика. И сноровка.

Моя Нимфочка пришла от них в восторг и давай строить глазки. При желании она это здорово умеет. А дурни клюнули на это. Они и в самом деле подумали, что она без ума от них.

«Тамтам» пригласил Нимфочку на танец. Она пошла. И я сразу сообразил — она сделала это мне назло.

Баянист надрывался. А Нимфочка между тем вовсе разошлась. Захотелось плюнуть на все и уйти. Как-никак, а мне еще предстояло свидание с Айбикой. Но я побоялся оставить Нимфочку среди этого сброда.

Вдруг одна из девчонок, тоже, наверное, назло кому-то, пересела за наш стол и предложила пойти в гости к какому-то Гау-гау; Нимфочка — разумеется, мне назло — немедленно согласилась.

Что делать? Не оставлять же ее одну в этом гнусном обществе? В конце концов я единственный ее друг в нашем городе и за нее в ответе. Волей-неволей мне пришлось последовать за шумной компанией.

Нимфочка шла впереди под ручку с «Тамтамом» и весело напевала стихи Попугаева:

Никого — моя подруга,
Ничего — моя дорога!
Нечто — это моя цель...

Только бы не попасться на глаза Айбике или Валентину.

По дороге выяснилось, что Гау-гау здорово провинился перед компанией. Назанимал у всех деньги и не возвращает. Было условлено устроить какой-то «суд шарашки».

25

Еще издали мы услышали джаз-бандовую музыку, вырывавшуюся из широко распахнутых окон. Однако на звонки никто не вышел.

— Пустим в ход кулаки! — скомандовал самый мрачный весельчак.

Банда пустила в ход кулаки, и только тогда в двери щелкнул замок и перед нами выросла фигура Пискаревского: это и был прославленный Гау-гау. Вот уж не думал! Пискаревский, пожалуй, был поражен не меньше меня.

Он пригласил нас войти, больше ничего ему не оставалось делать.

Буйная компания ввалилась в большую комнату, заставленную ветхозаветной мебелью: диван, кресла, люстра — все было по-купечески добротно.

Даже у комода сытый вид: никогда бы не подумал, что Пискаревский дома как сыр в масле катается.

Пока рассаживались и хохотали, прошло много времени. Я все ждал, когда начнется «шарашкин суд», но так и не дождался. Среди шума я вдруг услышал, что кто-то громко стучит.

— Что это? — спросил я.

— Оставь, — лениво отозвался Пискаревский. — Соседка! Ну ее к дьяволу!

Но тут стали стучать не только громко, но и отчаянно. Я не выдержал и ринулся открывать дверь. Стучали не у входной двери, как это полагалось бы соседке, а в ванной комнате.

Не успел я откинуть крючок и распахнуть дверь, как из ванной комнаты вывалилась старая женщина почти без сознания. Наверное, это была мать Пискаревского. Она мне бросила в лицо:

— Изверг!

Я подхватил ее под руку и увел в соседнюю комнату.

Никто, кроме меня, не видел, что произошло.

Меня мутило от всего этого. Я подошел к Нимфочке и схватил ее за руку. Но, пьяная, она всегда сопротивляется и упорствует.

Пришлось ее увести насильно. Ну их к чертовой бабушке! И надо же было так влипнуть! Сгоряча я повез Нимфочку прямо на вокзал и посадил в поезд; на билет, слава богу, хватило. На прощание шлепнул ее, как девчонку, чтобы не устраивала веселые гастроли и чтобы знала, что к чему.

26

Очнулся поздно, в половине десятого. Живо сбросил одеяло. Но теперь спеши не спеши, прогул налицо.

Надо же было так нализаться!

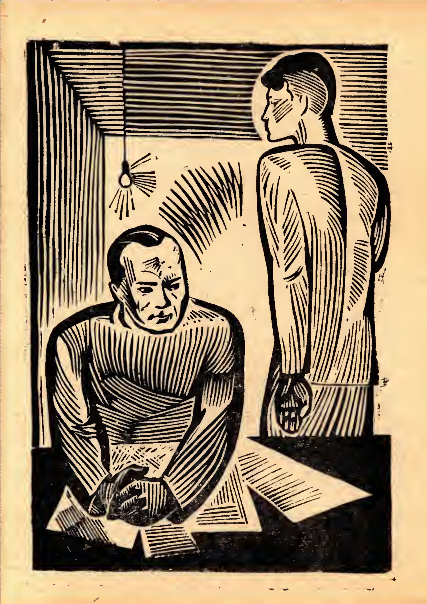
Я не питал никаких иллюзий: мне несдобровать. За прогулы у нас по головке не гладят.

С похмелья страшно болела голова.

«Кажется, я навеки распрощался с Нимфочкой...»

Как ни странно, эта мысль не огорчила.

Минутой позже я вздохнул.



«Теперь и Айбику мне не видать как собственных ушей!»

Но эта мысль меня совсем не обрадовала, прямо скажу.

Весь день я провалялся в постели, стыдно все-таки появляться перед людьми с похмельной рожей. Амантаев еще не вернулся из Уфы — и то утешение.

Сначала решил: разыскать Валентина и переговорить с ним откровенно с глазу на глаз. Но передумал, не пошел. Еще не хватало: вымаливать снисхождение!

На следующий день поднялся с зарей, наспех перекусил и бегом на комбинат.

В этот час на улицах, кроме запоздалых влюбленных, никого не встретишь.

Но, к своему великому удивлению, на трамвайной остановке я встретил — кого бы вы думали? — самого Седова! «Пожалел в такую рань будить шофера, вот и притащился на остановку», — решил я.

Чудак, конечно. Большой начальник должен пользоваться своими суверенными правами. Во всяком случае, я не одобрил его поведения.

До самого управления мы с ним ехали в одном вагоне — какая мне честь!

Не успел я, однако, войти цех, как нос к носу столкнулся с Валентином. По наивности своей я всетаки надеялся, что комсорг не станет поднимать шума. Но не на такого напал.

— Я тебя без всякого промедления переправлю к Задней Улице, — пригрозил он. — Ты еще ни разу не вел с ним нежного разговора? Что же, придется тебе испытать это счастье.

Я уже слышал, что «нежный разговор» — это что-то вроде елейной проповеди. До предела нудная про-

цедура. Катук, например, говорит: «Лучше бы он ругался или ударил сплеча — только не это выматывание души».

— Так и выложил комсоргу всю правду? — спросил меня Барабан, насупившись.

— Не люблю увиливать и врать, не приучен.

— Чистоплюй! Кому это нужно?

— Мне. Всем. И оставь ты меня в покое!

Отвернулся и ушел. Еще не хватало, чтобы Барабан плюнул мне в душу. Все-таки у меня есть кое-какие принципы.

Валентин решил сделать себе большую карьеру. Это даже слепому видно. Вот и старается себя показать. Выслуживается, одним словом.

Ну его к дьяволу!

Не скрою, не люблю я таких типов. Из таких к старости лет вызревают ханжи и демагоги.

Уж настолько беспощаден Валентин к человеческим слабостям, что частенько сам себя наказывает выговором. В этом я твердо убежден.

27

«...Тебе, Катерина Анисимовна, русским языком сказано, и ты слушайся. Можешь ты на один час позабыть о моем существовании? Нет меня в конторе! Я вышел! Я заболел! Поняли? И существую только для этого Хайдара Аюдарова. Одним словом, товарищ чертежница, посиди тут спокойно. Ну вот, хорошо.

Мы с тобой одни, Аюдаров. Нас двоих более чем достаточно для нежного разговора.

Ты помнишь, Аюдаров, как я тебя встретил? Встретил очень красиво: «Из тебя рабочий человек не полу-

чится! — сказал я тебе. — Но турист получится». И правильно сказал. Красиво сказал.

В то время ты был на четыре месяца моложе. Я — тоже. Что же изменилось с тех пор? Цех избирает тебя в редколлегию стенной газеты, а ты не пишешь и не рисуешь. Тебе поручают провести шахматный турнир — ты отлыниваешь.

И наши собрания не посещаешь. Значит, школу коммунизма игнорируешь? Почему не ходишь? Сам не знаешь?

Почему не пишешь в стенную газету? Тоже сам не знаешь?

Мы хотели обмыть тебя, почистить, отутюжить. Сделать из тебя если и не настоящего, то, во всяком случае, порядочного человека! Доделать то, что не успела сделать жизнь, чего не сумели сделать отец и мать.

Ты говоришь, отца нет? Но ты его помнишь, слышал о нем? Отец был токарем? Токари — отличные люди. Среди них почти все ударники... Не знаешь, был ли он ударником? А я знаю: наверняка был. Рабочий человек — лучший человек в мире. Аристократия земного шара! Токарь не может не быть ударником.

А потом, говоришь, он стал летчиком? Значит, летал выше всех и быстрее всех. Ты не знаешь, хорошо ли он летал? А я знаю! Летчики — лучшие люди в мире. Аристократия неба! Советский летчик не может не летать выше всех и быстрее всех.

Сын рабочего и летчика! Завидую тебе, Хайдар Аюдаров. Не горжусь, а завидую. Это не одно и то же.

Восемнадцать лет — завидный возраст. Умный возраст. И глупый. Покойный Гораций говорил: наглость — спутник молодости. Почему я вспомнил о Горации?

Потому, что я говорю с тобой, а ты смотришь в окно! А там на башенном кране работает красивая девушка. Не на нее смотришь? Пусть будет так, значит, я ошибся. Запомним: на красивую девушку ты не смотришь, тебе больше нравится смотреть на своего начальника цеха!

Ты думаешь, что ты один на белом свете? И у меня одна забота — вести с тобой нежный разговор? Если так думаешь, то ошибаешься. Нет, у меня не одна эта забота.

Что мне делать, если фланцы компрессоров пропускают газ? И где сейчас достать три бульдозера для очистки территории цеха?

Я кончаю, Аюдаров.

Ты прогулял один день. Если бы цех уже работал на полном ходу — быть бы тебе в приказе или пришлось бы отвечать перед судом чести.

Один прогул может быть причиной большого взрыва и смерти сотен людей. Один день химика — сотня дней обычного смертного.

Я заканчиваю. Лучше быть клювом цыпленка, чем задом коровы. Ты понимаешь, что такое клюв и что такое зад?

Катя, я вернулся к очередной работе... Я — в цехе! Я существую для всех. Давай сюда телефон! Здравствуй, Катерина Анисимовна! До свидания, Аюдаров».

28

Задняя Улица упрекал меня не без основания: пока он отчитывал, я действительно наблюдал в окно за Айбикой. За тем, как она ловко спускалась с башни, за тем, как она что-то объясняла своему напарнику.

Значит, закончила смену и сейчас направляется домой.

Прикрыв дверь конторки, я стремительно выбежал из цеха: никак нельзя упустить Айбику! Поискал ее глазами и нашел. Стоит возле боевого листка «Даешь карбамид!», разглядывает какую-то карикатуру. Уж не меня ли намалевали?

Осторожненько подошел сзади и глянул через ее плечо. Отлегло от сердца: попало какому-то Ахметзянову, бригадиру строителей. Тоже, наверное, прогулял.

Вздохнул облегченно, сказал самым деликатным образом:

— Привет, Айбика!

Она обернулась.

— Здравствуй!

— Поверни-ка голову — одно загляденье! Плакат на плакате: «Карбамид — это хлеб!», «Карбамид — это мясо!», «Карбамид — это молоко!» А вон там даже: «Карбамид — это лекарство!» Выходит, одним карбамидом жить можно?..

Я говорил скороговоркой, что со мной бывает в тех случаях, когда боюсь потерять собеседника.

— Ты сейчас только проснулся, что ли? Или шутишь? — удивилась Айбика. — Плакаты висят без малого неделю.

— И тот — «Цех карбамида сдадим ко дню открытия областной партийной конференции»?

— А тот уже висит целый месяц!

Пошли рядышком. Под ручку не осмелился взять. Потому что знаю свою вину.

— Ты что вдруг замолчала?

Не отвечает.

— Обиделась?

Молчит.

— Что у тебя за книга?

Вытянул книгу из-под ее локтя. Взглянул на заголовок — усмехнулся.

— Книгу эту вовсю разругали. Сам читал в газете.

— И правильно сделали, что разругали! — неожиданно рассердилась Айбика.

— Почему же правильно?

— Не люди описаны в ней, а черт знает кто, какие-то недопеки и недоспелки.

— Тебе, конечно, нравятся только положительные герои? О них сейчас немало пишут и говорят.

— Да, если хочешь!

Чувствую, разговор не клеится. Она здорово рассердилась на меня за то, что я тогда из-за Нимфочки не пришел на свидание. Назначил и не пришел. Свинство, конечно!

— Если все писатели будут писать только о героях, например о Корчагиных прошлого...

— И настоящего...

— Пусть и настоящего... Ведь не одни Корчагины на свете. Если превратить литературу в жизнеописание одних только героев или в предписания, как себя вести в жизни, то у нас никогда не будет широкой панорамы общества, как, например, у Бальзака. Он один, я где-то читал, создал две тысячи персонажей, плохих и хороших, идеальных и не идеальных.

— А разве писатель должен только панораму описывать? — задористо спросила Айбика. — Он, по-моему, должен эту самую панораму переделывать. А кто ее может переделывать: хлюпики или, допустим, положительные герои?

— Упрощенно смотришь, — сказал я ей. — Не может быть просто идеальных и просто плохих людей. Бывает и на солнце пятнышко... Пришло время слож-

ных людей. Я хочу быть сложным. И все мы хотим быть сложными.

— В книге, как и в жизни, — возразила она важно, — человек есть человек. Хлюпик есть хлюпик... А слова твои какие-то чужие.

И пошла прочь. Конечно, обиделась и не столько на то, что я повторил чужие мысли, а я в самом деле повторил чужие мысли, сколько за то, что в прошлое воскресенье не пришел к ней на свидание. Наверное, рассчитывала, что я кинусь за ней и буду просить прощения...

Но я не кинулся. И не стал вымаливать прощения. И все-таки заставило меня что-то крикнуть ей вдогонку:

— Постой-ка, Айбика!

Она не оглянулась. Ну и шут с ней!

29

Вдруг на том берегу, где-то в ложбине, среди деревьев, запела птица. Я неважный знаток пернатого царства. Кто это поет: желнушка или сорокопутжулан?

Я криво усмехнулся — жулан своих песен не имеет... во всяком случае, весною его голоса не услышишь. Месяца два он как бы втихомолку тренируется, передразнивает коноплянку или овсянку; и вот в середине лета жулан вдруг начинает петь во весь голос, ловко подражая своим учителям вплоть до соловья.

Птица, не имеющая своих песен, — это же я сам!

Вот Амантаев, тот имеет свою собственную песню. Его не собьешь с голоса.

Майя Владимировна давно собиралась устроить загородную прогулку. И вот, наконец, это осуществилось. Мы долго шли по берегу, пока Майя Владимировна не сказала:

— Давайте здесь сделаем привал. Правда, уютное место?

Мы расположились у самой реки, чуть ниже плавучего моста, разведенного по случаю молевого сплава.

— Костер беру на себя, — сказал я.

— Вот и отлично.

И мы сидим у яркого костра, который шипит и ворчит почти у самой воды. «Почему это с огнем — врагом номер один, как говорят химики, — связано самое интимное чувство уюта? — думаю я, следя за ленивыми языками пламени. — Не потому ли, что огонь — первое и самое древнее открытие человека?»

Я украдкой посматриваю на Майю Владимировну. О чем она думает в этот отдохновенный час? Перехватываю ее взгляд. Она смотрит на реку. Бревна несутся по воле волн, натыкаются друг на друга, их выбрасывает на пологий берег.

В вечерней звонкой тишине явственно слышно, как они, глухо ворча, выползают из воды.

Никаких других звуков до нас не доходит. До города далеко, а землеройные машины, добывающие в глубоком карьере песок, не работают по случаю воскресенья.

— Как хорошо! — говорит Майя Владимировна.

Противоположный берег крутой. Весь он сбит из голых холмов. В ложбинках между ними приютились кривые березки и стройные сосенки.

Наверное, там, за рекой, — хрустальные родники, таинственные пещеры, зеленые лужайки. Хорошо бы

переправиться через реку и идти, идти до самого горизонта, до синих гор, что маячат вдали.

Мне кажется, Амантаев не замечает красоту, разлитую повсюду. Его больше интересуют два рыбака. расположившиеся выше по течению.

— Какое счастье быть человеком! — говорит Майя Владимировна. — Каждый из нас в своей основе очень, очень хороший. Стоит человеку чуточку постараться, и он становится милым, добросердечным, даже восхитительным. Ведь правда? И от этого так хорошеет жизнь.

Что с ней? Ее точно подменили. Ведет себя как восторженная девчонка.

«И наоборот, — мысленно возражаю я, — стоит человеку постараться — и он становится негодяем. И это ему удается не хуже.

...Я бы, например, смог рассказать им, как звонил своему другу. Набрал нужный номер и спрашиваю:

— Это ты, Доминчес?

А мне отвечает другой голос. Как будто даже знакомый, но не Доминчеса. На какое-то мгновение я засомневался: может, ошибся номером?

— Доминчес Федорович отлучился, — отвечают мне.

— Позвольте, — спрашиваю, — кто же в таком случае со мной разговаривает?

— Друг семьи, — отвечает тот же голос явно двусмысленно.

Пока я держал трубку, не зная, что сказать, на том конце послышался голос Лиры Адольфовны:

— Что передать товарищу Алонсо?

Я не стал с ней разговаривать, бросил трубку...

Сказать об этом или нет?..»

— Вчера я была на банкете, — продолжает Майя Владимировна, — его устраивали в честь героической



дочери Кубы. Кто-то поставил перед нею бокал с шампанским, но она не выпила ни глотка, отказалась, одним словом. Товарищ, сопровождавший ее от Уфы, между тем стал настаивать: «В Уфе, — сказал он, — вы не отказались выпить с нами». На это она ответила: «В тот раз я была в платье, а сейчас на мне форма повстанца». — «И что же?» — удивился товарищ. «Дело в том», — сказала она, — что Фидель запрещает пить в форме». — «Но ведь Фидель за одиннадцать тысяч километров отсюда. Он не увидит!» Знаете, что ответила кубинка? По-моему, превосходно: «Провожая нас, Фидель напомнил: «Мое сердце всегда с вами!» А сердце Фиделя обмануть нельзя».

Майя Владимировна оглядела нас и сказала както значительно:

— Слышите, мужчины: сердце Фиделя обмануть нельзя!

Хорошо, что я не рассказал Саратовой о телефонном разговоре. Я бы, пожалуй, испортил весь вечер!

30

Я вышел из реки и быстренько натягиваю на себя рубашку и брюки.

Слышу тихий всплеск. Из воды выходит Майя Владимировна, царственной походкой медленно приближается к костру. Ее плечи и руки излучают свет. Она похожа на русалку из сказок. Но вот Майя Владимировна начинает обтираться полотенцем, и на моих глазах гаснут маленькие капли-бриллиантики на ее плечах. очарование проходит. Русалки нет. Стоит женщина.

Женщина, которая не хочет быть нашей царицей.

Стремительные тени то и дело пересекают лунную дорожку, пролегшую по реке, — это плывущие бревна. Между ними, почти у того берега, плавает Амантаев.

— О-го-го! — кричит Майя Владимировна.

— О-го-го! — отвечает река.

Майя Владимировна расчесывает волосы.

— Жаль, не догадалась взять с собою зеркало, — говорит она мне.

— Взгляните на луну, сегодня она похожа на зеркало.

Майя Владимировна тихонько смеется.

Я слышу чьи-то крадущиеся шаги и незнакомый голос:

— Можно к вашему костру? Пока стояли в реке с удочкой, спички отсырели.

Смотрю — рыбаки. Те самые, которые рыбачили неподалеку от нас.

— Присаживайтесь. Костер оставляем в полное ваше распоряжение.

— Кого я вижу! — вдруг радостно восклицает один из рыбаков. — Здравствуйте, товарищ Саратова!

— Здравствуйте.

Майя Владимировна не в восторге от этой встречи. Заметно по голосу.

— Кто еще там купается?

— Искандер Амантаевич.

— Ба! Я как раз хотел поговорить с ним по очень важному делу.

Рыбаки окликают Амантаева. Ничего в этом удивительного нет. Город наш небольшой, а мой шеф — человек известный.

Рослый рыбак, нахлобучивший на голову старую соломенную шляпу, молча стоит у костра, а второй,

щупленький, горбоносый человек, пошел навстречу Амантаеву.

— Да, — отвечает Амантаев, закуривая и протягивая пачку папирос собеседнику.

— По пятому разу?

— По пятому.

Щупленький затягивается дымом, выпускает его и говорит, как бы осуждая:

— Так, так. А вот со стариком ты оплошал. Сам подумай, человек демонстративно, на виду у всего цеха отказывается участвовать в общегородском слете, а в это время парторг, вместо того чтобы осадить человека, осудить его, выступает в роли адвоката. А следовало подумать о возможных последствиях. Это прежде всего.

— Нам, в нашем положении, нельзя не думать, — неохотно отзывается Амантаев. — Если уж говорить откровенно, то Прохор Прохорович прав. В самом деле, не следует в разгар дня срывать сотни людей с рабочего места. Тут уж ничего не попишешь...

Собеседник Амантаева тянется еще за одной папироской.

— Мое дело маленькое, — говорит он, не умея скрыть досады. — За такие дела по головке не гладят, это тебе известно. Руководству видней, когда нужно собирать слет. К тому же подобные мероприятия без согласования с Уфой не проводятся.

— По-вашему, Уфа не может ошибиться?

Щупленький пропускает этот вопрос мимо ушей. Твердит свое:

— Я что? Я — маленький винтик в большом деле. Но мне представляется, что тебе коренным образом следует пересмотреть свою позицию, если, конечно, не хочешь попасть впросак.

Амантаев отбрасывает окурок. Видно, начинает терять терпение.

— Мы не привыкли, между прочим, выносить два противоположных решения по одному и тому же вопросу...

— Если стать на твою позицию, черт знает до чего можно докатиться!

— И докатимся, — угрюмо произносит Амантаев. — Я вот скоро ошеломлю вас одним проектом, а там хоть стойте, хоть падайте. Но сначала напишу об этом в ЦК.

— Я хотел предупредить тебя, как друга...

Амантаев не отвечает. Наступает тягостное молчание.

Горбоносый хмурится. Второй рыбак не произносит ни слова. Майя Владимировна, не скрывая раздражения, мнет в руках косынку.

— На войне я повидал немало людей... — начинает Амантаев, но щупленький перебивает его:

— Прости, пожалуйста, я предупредил, а дальше смотри сам...

— На войне я повидал немало... — снова упорствует Амантаев.

И снова его перебивает щупленький:

— На твоем месте я отнесся бы ко всему этому более серьезно!

Уже начиная основательно сердиться, Амантаев повторяет:

— На войне я повидал немало людей, хороших и плохих, умных и глупых, отважных и трусов, но один из них запомнился мне на всю жизнь... Приезжаю к нему с официальной командировкой, из штаба фронта. Обычно с нами, представителями вышестоящих штабов, церемонились, а этот генерал не стал церемонить-

ся. Как только встретились, спрашивает меня: «Вы храброго десятка, майор, или нет?»

«Всяко бывает, — отвечаю ему, — зависит от обстоятельств, в которые попадаю и с кем попадаю...» Он говорит: «В четыре утра вас разбудит мой адъютант». Мы тогда наступали в районе Полтавы. В четыре поднялись, выпили по стакану холодного молока и — в путь. Генерал сел рядом с водителем, а мы — его адъютант, связной и я — поместились на заднем сиденье. Я сразу заметил, что телефонист беспрестанно разматывает катушку с телефонным проводом. Этого до сих пор видеть мне не приходилось. Машина вышла на окраину села, свернула на пашни. Вижу, катим прямо на позиции противника. Ну, думаю, генерал знает, что делает. Остановились за скирдой прошлогодней соломы, точно на нейтральной земле между своими и вражескими позициями. Шофер немедленно замаскировал машину, а адъютант и телефонист стали рыть щель. На всякий случай. Каждый отлично знал свои обязанности. А в это время генерал уже держал связь со своими командирами, телефонист это своевременно обеспечил. «Луна!» — сказал генерал в трубку. А «Луна» — позывной командира одного из полков. «Доброе утро. Возьми-ка бинокль свой. Готов? Впереди себя километрах в двух видишь скирду? Прекрасно. Мой КП именно тут». В эту минуту я попытался представить себе лицо полковника, который вдруг оказался в тылу своего генерала. Наверное, это был неотразимый психологический ход! Ни один честный, волевой и самолюбивый командир, естественно, не мог позволить себе такую роскошь — находиться позади своего генерала. Я понимал, что полковник, чтобы не сгореть со стыда, постарается выдвинуться вперед со всем своим полком... В тот день дивизия продвинулась на двенадцать кило-

метров, соседние соединения тоже не топтались на месте: нельзя же обнажать фланги наступающей дивизии. На другое утро генералу не удалось повторить свой маневр. Против «генерала-кинжала», как называли его немцы в своих листовках, начались могучие контратаки. И вот что сделал в таких трудных условиях генерал-кинжал. Он пополз (и заставил нас за собой следовать) на КП командира полка, выдвинутый далеко вперед. На командном пункте он не стал принимать доклад, а сказал просто: «Твой КП мне очень нравится. Я здесь остаюсь». Я понимал, что произойдет дальше: командир полка повторит эти же слова на КП комбата, а тот, в свою очередь, на КП командира роты. В этот день, тяжелый день, дивизия снова продвинулась на три километра. А соседние части, где командиры руководили боем только по телефону, тоже не могли остаться на своих старых позициях. Приказ и совесть заставляли бросать насиженные траншеи.

Идеального партийного работника хочется сравнить вот с этим генералом, — говорит в заключение Амантаев. — Ему не сидится в кабинетах, его место среди народа. Он силой своего примера заражает народ.

Амантаев озорно улыбается, добавляет:

— Нелегко, наверное, быть подчиненным при таком секретаре ЦК или обкома. Того и гляди оставит тебя в тылу!

31

Тут еще некстати солнечное затмение!

Хотя об этом предупреждали заранее, наступило какое-то замешательство. Я, например, как шальной

кинулся на балкон. В половине первого вдруг наступили сумерки. И на небе, там, под Луною, всплыла золотая байдарка.

— Подобные полумесяцы, лежащие на спине, я наблюдал только в Индии, — проговорил кто-то из толпы, собравшейся во дворе. Кто-то другой по старинке помянул шайтана. Послышались шутки.

Каждый из доморощенных астрономов, вооруженных закопченными стеклами, ежеминутно что-то «открывал»: то пятно, то второй план, то какие-то силуэты.

Именно в это мгновение дворник, я узнал его по голосу, вспомнил о своих обязанностях.

— Эй, кто там бегает по крыше? — крикнул он.

Оттуда, с крыши, последовал веселый смех.

— Киевский астроном!

Я подумал: почему киевский? Скорее всего он крикнул то, что сразу пришло в голову.

Чья-то лошадь, случайно оказавшаяся во дворе, перестала жевать сено и с удивлением подняла голову: над нею, громко стуча крыльями, метались голуби.

Суматоха продолжалась недолго. Вот уже женщина как ни в чем не бывало вынесла мусорное ведро, какой-то заядлый рыбак завел свой мотоцикл, на третьем этаже по-домашнему заплакал ребенок.

Жизнь снова вошла в свою колею.

И все-таки извечный страх пещерных людей перед тайнами природы, унаследованный каждым из нас, ютится где-то в глубине души. Я никак не мог освободиться от предчувствия какой-то беды.

Что меня тревожит?
«Как Айбика там, на верхотуре?..»

Но что с ней может случиться?

Заметался по комнате. Дуемся, избегаем друг друга, чепуха какая-то!

Я обидел ее, виноват перед нею, а переступить через свою гордыню не могу. Но вечно так продолжаться не может. Конечно, не может.

Смотрю на часы: еще рано на работу. Включаю радио. Знакомый местный диктор скороговоркой сообщает:

— Информацию о ходе строительно-монтажных работ в предпусковые дни сделал заместитель главного инженера товарищ Гусев. Он доложил, что к восьмому августа на насосную станцию будет принят жидкий аммиак. К этому времени будут обкатаны насосы.

Чуточку стало легче на душе, когда в комнате заговорил человек. Пусть и скучная передача, но живой человеческий голос вошел в мою обитель, я не одинок. А это очень важно, когда неспокойно на душе.

— Второй компрессор в цехе углекислотной компрессии будет смонтирован к двадцать третьему числу и станет служить резервным для первой очереди. Однако вызывает тревогу состояние подземных коммуникаций, так как оказалось, что старая канализационная система разбита и загрязнена...

И тут что-то вызывает тревогу. Я выключаю радио. Выхожу из дома. Мимо знакомого вахтера пробегаю, не успев раскрыть пропуск, несусь под лабиринтом воздушных коммуникаций и, наконец, запыхавшись, подбегаю к башенному крану.

Айбика работает как ни в чем не бывало. Разве ее удивишь солнечным затмением?

На ее рабочем месте плакатик: «Кран ошибается один раз!» Не сама ли девчонка это придумала? Это еще зачем?

Отсюда, с земли, мне не видно, что она делает в эту минуту в своей узкой кабиночке. Может быть, даже поет.

Я знаю ее любимую песню:

Когда нужно, коня седлал,
Когда нужно, лук и стрелы брал,
Свою кровь проливал, но врагу не сдавал
Башкир свой родной Урал...*

Но сколько можно стоять под краном, задрав голову?.. «Она там! Полный порядочек!» — сказал я сам себе.

Тревоги как не бывало.

Иду в цех. Там новый плакат: «С сегодняшнего дня — курить опасно!» Вчера его еще не было. Значит, по-настоящему начинаются испытания. Жизнь идет как надо!

Заглядываю в наш неофициальный штаб — операторскую комнату. Здесь Амантаев и Саратова. Слышу, как он спокойно диктует:

— ...Обязательства по вводу в эксплуатацию первой нитки производства карбамида к двадцать третьему сентября...

Я осторожненько прикрываю дверь — не буду им мешать.

Скоро наша смена заступит на вахту: на отметке «двадцать восемь», возле кристаллизатора, займет свой пост Прохор Прохорович; на отметке «двадцать один», возле испарителя, встану я; этажом ниже займут свои боевые позиции Валентин и тетя Шура; и в самом низу, неподалеку от смесителя, заступят на дежурство Лира Адольфовна и Пискаревский.

---

* Слова народной песни.

Все наши на подходе. Уже слышны голоса Катука, Лиры Адольфовны. Только Барабан где-то задерживается и не видно Доминчеса, моего друга испанца.

Неожиданно передо мною появляется Задняя Улица.

— Аюдаров!

— Я Аюдаров.

— Инструкцию знаешь?

— Назубок.

— Обязанности тоже?

— Да, товарищ начальник цеха.

Хотя в этом нет никакой нужды, я стараюсь ответить по-военному четко и ясно. Мне это приятно.

Задняя Улица удаляется. Очевидно, он обходит всех по очереди.

Первый раз в жизни мне дали понять, что не могут без меня обойтись. В такой знаменательный час, день пуска цеха, я нужен людям! Это наполняет меня гордостью.

Аюдаров не только важничает, не только придирчиво проверяет свое хозяйство (который раз!), но и продумывает свою работу наперед. Дежурному слесарю полагается думать.

В этот день все люди без исключения ощущают себя важными персонами. Барабан носится с этажа на этаж. Перед глазами то и дело появляются и тут же исчезают монтажники. Даже к Нагиме невозможно подступиться, так она заважничала!

...«На нефтехимическом комбинате одержана важная трудовая победа. Выведен на режим мощный, оснащенный первоклассной техникой объект по *производству карбамида. Получена первая партия ценней-*

шего минерального удобрения. Он идет также для производства пластмасс, душистых веществ, болеутоляющих и снотворных препаратов.

После того как в колонну синтеза карбамида подали углекислоту, все шло нормально. И вдруг ночью здание наполнилось газом.

— Вот какой капризный аммиак,— шутили аппаратчики,— не желает уживаться со своим компонентом, убегает...

Вооружившись противогазами, рабочие и инженерно-технические работники цеха с небывалым напряжением трудились над устранением всевозможных неполадок. Повинуясь воле людей, установка начала выходить на режим. А в цеховой лаборатории мне показали белые кристаллики длиной в несколько миллиметров.

— Это и есть карбамид,— говорят лаборантки.— Анализы показывают, что он сполна отвечает требованиям».

Такое сообщение появилось в газете «Советская Башкирия». Тут все точно, за одним маленьким исключением. Слова «вот какой капризный аммиак, не желает уживаться со своим компонентом, убегает...» произнес не аппаратчик, как утверждает корреспондент, а Доминчес.

В ту минуту я не придал особого значения его словам. Принял за шутку.

Пора было расходиться по рабочим местам, а Доминчес все медлил. Похоже, не хотелось ему уходить от меня.

Я спросил:

— Ключ у тебя свой?

— Конечно.

— Обмедненный?

— Другого нам не полагается.

Потом мы поговорили, что неплохо было бы после вахты выпить по стакану сухого вина. На худой конец — холодного пива.

Кто же знал, что это был последний с ним разговор?

А я по обыкновению начал философствовать: кто такой дежурный слесарь? Со стороны кажется, что он ничего не делает, только за приборами следит да за пломбами. Но работа дежурного слесаря поважнее, чем у иного министра.

Минутой позже я уже сравнивал себя не с министром, а с моряком. Порою не отличишь, где капитанский мостик и где наша операторская, — глубокомысленно рассуждал я. — Прежде всего внешнее сходство: щит управления, вахтенные журналы, картограммы, всякие рычажки и кнопки. И внутреннего сходства, пожалуй, не меньше: железная дисциплина — раз, братство — два, всякие строгости — три...

Одним словом, у нас самые настоящие корабельные порядки. Смену принимаешь по секундной стрелке, проверяешь все пломбы, и чуть что — рапорт в журнальчике.

В вахтенном журнале, например, можно встретить такие записи: «К часу 15 минутам ампераж и вольтаж упали до «0». Отключили полностью потенциал-регулятор. Открыли байпас. При автономном включении потенциал-регулятора заискрило в обмотке. Вызвали электриков. Температура начала понижаться. После осмотра разобрали электросхему. И приступили к ремонту».

На бумаге все просто: обнаружили, вызвали, включили и приступили к ремонту. А мне ребята рассказывали, что при этом можно взлететь в небеса. Вот как это обыкновенное в необыкновенном бывает.

32

И в это мгновение раздался сигнал тревоги.

На отметке «семь» — газ!

Тут уж мешкать нельзя. Немедленно выключили установки, перекрыли всю систему. Но газ, по-видимому, продолжал распространяться.

Мы натянули противогазы.

Ведь вся коммуникация была опробована на воде, устранили десять тысяч неполадок и предотвратили любую утечку. И вот надо же! Только вчера Амантаев говорил:

— После того как в колонну синтеза карбамида подали углекислоту и вышли на режим, все с облегчением вздохнули: теперь можно быть спокойным за технику.

За химию, выходит, никогда нельзя быть спокойным.

Пока я придирчиво проверял каждый узел, ко мне подбежал запыхавшийся Задняя Улица.

— Полный порядок?

— Как будто полный...

— Будь внимателен! — сказал он. — Газ распространяется по всем корпусам.

Только сейчас я представил себе весь масштаб опасности. Тут поневоле затоскуешь: значит, не только наше здание, где размещается отделение синтеза и переработки, но и аммиачная насосная, и узел при-

ема аммиака, даже насосная жидкого рецикла — всё загазовано!

Мимо прошел старший механик.

— Ну как? — спросил я его.

— Металл, известное дело, перегревается, — старый кудесник беспомощно развел руками, — сам понимаешь, в системе — сотни градусов, никакие фланцы тут не выдержат.

Много часов провозились, пока устранили течь, и вот снова раздались долгожданные команды:

— Принять аммиак!

— Подогреть систему!

— Сбросить давление!

— Сбить температуру!

— Повысить давление!

И пошла писать губерния.

Но недолго длилась наша власть над машинами, пришло время сдавать вахту.

— Что ж, до завтра! — сказал я своему сменщику и со всех ног бросился в контору. Хотелось взглянуть на новорожденного — какой он из себя, наш карбамид?

Вся контора забита людьми — не протиснуться.

— Ребята, не сглазьте, — трясется над консервной банкой из-под говядины наша Нагимочка. — Еле выпросила.

Консервная банка, наполовину заполненная желтоватым порошком, ходит по рукам. Кое-кто даже пробует этот порошок на язык.

Я тоже подержал банку на ладони, но пробовать порошок не стал, ну его к дьяволу.

И только когда прошла первая радость, я спохватился:

— Где же Доминчес?

— Что-то на глаза не попадался, — ответил Катук.

— А ты, Валентин, не встречал его?

— Разве до него было? Сам видел, что творилось. Кроме того, я только что сменился.

Я начал волноваться по-настоящему:

— Дядя Прохор, вы опытный производственник, скажите, ничего с ним не может приключиться?

Волнение передалось всем, кто был в операторской. Ничего не говоря друг другу, на ходу надевая противогазы, мы бросились на лестницу.

В углу небольшого машинного зала, сразу за кристаллизатором, лежал Доминчес. Он был без противогаза. На его смуглом, еще молодом лице застыла какая-то бессмысленная и жалкая улыбка. И смотрел он мимо меня, мимо дяди Прохора и растерявшихся людей, неведомо куда.

Вдруг за моей спиной кто-то простонал и рухнул на пол.

— Уведите ее! — распорядился дядя Прохор, хмуро взглянув на людей, столпившихся вокруг Лиры Адольфовны.

Барабан со всего размаха ударил по раме — в зал ворвался поток свежего воздуха. Я растерянно смотрел, как наш бригадир пытался привести испанца в сознание.

— Ну, что вы тут стоите, как потерянные души! — гаркнул он. — Звоните в «Скорую помощь»! Сообщите начальству. И нет ли где под рукой аптечки?

Мы спохватились слишком поздно. Я вспомнил: дня три назад, когда мы с ним получали зарплату, он сказал мне ни с того ни с сего:

— Лос муэртос и идос но тиенен амигос.

— Что ты лопочешь? Я не понимаю по-испански.

Он, помнится, улыбнулся.

— Я говорю: «У мертвых и отсутствующих нет друзей»...

Вот так он и сказал. А сейчас лежит неживой.

— Несите его на воздух! — крикнул Барабан.

Зайдя за сепаратор, я дал волю слезам. Хорошо плакать в противогазе, никто не видит твоих слез и не слышит, как всхлипываешь, когда какой-то большой комок подкатывает к горлу...

«Мама, дорогая, прости за то, что письмо будет полно тревоги.

Это потому, что я сам полон тревоги.

Вчера мы хоронили Доминчеса Федоровича Алонсо, слесаря из нашей бригады, чудесного парня. Он испанец, один из тех парней, кого еще детьми вывезли к нам перед падением республиканского правительства Испании. Ты, конечно, хорошо помнишь то время.

В день пуска цеха Доминчес задохнулся, так как все помещение было загазовано. В наших условиях это чрезвычайное происшествие.

И самое невероятное — Доминчес, когда его нашли, лежал без противогаза. По всем данным, он не успел его надеть.

К такому заключению пришла и комиссия. Она отметила неосмотрительность самого Доминчеса. Очень может быть, что он и в самом деле проявил неосмотрительность.

И все же я считаю, что мы его не уберегли, а должны были уберечь.

Провожали его в последний путь всем цехом. Дул ветер. Он почти всегда дует со степи, от Оренбурга.

На кладбище на невысоком дереве пела птица. Я позавидовал ее беспечности. Она не прервала песню даже в то время, когда заговорил старик Прохор.

— Пусть башкирская земля будет тебе мягкой подушкой, дорогой Доминчес!

В такую минуту у людей расслабляется сердце. Мне подумалось: птичка — это душа Доминчеса!

Есть у нас Нагимочка, работница нашего цеха, так она привела на кладбище всех своих детей. Для того, наверное, чтобы они на всю жизнь запомнили Доминчеса, нашего общего друга.

Прости, моя единственная, что и в твою душу я вношу тревогу. Но кому же, как не тебе, я могу написать о том, как мне трудно?»

Я не отослал этого письма.

33

Заместитель Седова, большелицый человек с клочком рыжих волос на макушке, докладывает:

— Мальчик у вентиля открыл байпас, как только резко повысилось давление.

— Когда это произошло? — спрашивает какой-то товарищ из совнархоза. Я его вижу впервые.

«Мальчик у вентиля» — это я. И опять-таки я выпустил аммиак «на свечу», то есть открыл этот самый знаменитый байпас. И теперь обязан отвечать за свои действия.

— По-видимому, это было в самом конце смены, как только услышал сигнал тревоги... — докладываю я.

— Точнее.

— Пожалуй, в двенадцать с чем-то.

— Еще точнее?

— Ну, минут в двадцать первого...

— Так... Так...

Меня здорово клонит ко сну, говоря откровенно, я разговариваю сквозь сон.

— Я могу идти?

— Погоди, — останавливает меня товарищ из совнархоза. — Ты еще понадобишься.

И я жду.

Начинает высказывать свои соображения товарищ Задняя Улица. У него тоже красные белки — вот уже месяц, а то и больше, как он не высыпается.

Конечно, все устали.

Я кошу глазами на заправленные койки в углу кабинета — вот бы растянуться и провалиться в сон! Но нельзя. Этот товарищ сказал, что я им еще нужен.

— Отсюда мораль, — говорит начальник цеха, отвлекаясь от телефонного разговора. — Надо заменить клапаны.

— Не торопись, — останавливает его совнархозовец. — Мы пока не уточнили, какой узел нас подводит. Все это одни предположения... Голая теория, так сказать.

Седов молчит. Он то и дело протирает пенсне. Амантаев уткнулся в схему и водит указательным пальцем по картограмме: пытается что-то уяснить себе.

Майю Владимировну тоже клонит ко сну.

Остальных я не знаю — ни рослого старика, говорящего с украинским акцентом, ни толстого и серди-

того человека, с остервенением курящего чужие папиросы, ни молодых важных инженеров.

И внезапно все начинают шуметь враз, перебивая друг друга. Я не совсем понимаю, о чем они спорят.

Седов оживился, нагнулся и ткнул пальцем в середину схемы.

— Вот тут, вот тут шестнадцатый шалит, — сказал он громовым голосом, ведь иначе не остановишь расшумевшихся инженеров. — В этом узле пробка. Прочистить и пускать. Ну как, схватим бога за бороду?

— Да, как будто борода в наших руках...

— Нет, пока мы не дотянулись до бороды, а нужно крепко ухватиться за нее.

Все его понимают, а я — нет. Я ничего не соображаю: потому ли, что здорово устал, или потому, что мало бываю в компании инженеров. Я ведь только «мальчик у вентиля»!

— Допустим, пробку нашли, — подает голос Амантаев; похоже на то, что он размышляет вслух, проверяя себя. — А отчего пробка? Ответа мы пока не имеем. Расходомеры отчетливо показывают падение давления на шестнадцатом. Это мы видим по картограмме. А вот почему давление упало, а потом подскочило? Попробуем пройти по схеме методом исключения.

По-моему, Амантаев ломит против Седова. Смешно все-таки, рискнул подняться на такой авторитет, на отца проекта!

Однако Седов не вспылил, время ответственное, тут окриком ничего не возьмешь. И снова тринадцать голов склонились над картограммами и схемами.

Все прослеживают поведение приборов: как они вели себя в двенадцать часов двадцать минут, именно в тот самый момент, когда я вынужден был открыть байпас.

Сквозь дремоту я слышу:
— Как с частотой?
— Девяносто семь...
— Лишь бы не меньше.
Майя Владимировна подает реплику:
— Не выдерживают показатели по сере. Завышение двойное.
Седов по телефону отдает команду:
— Снять все клапаны, которые подорвались.
Задняя Улица устало сказал:
— За окнами все еще темно...
Я уже совсем сплю. Именно в ту минуту, когда меня качнуло на стуле, дотошный совнархозовец вспомнил обо мне:
— Очень важно, чтобы люди отдохнули. Это необходимо. Итак, товарищ Задняя Улица, пускаем в восемь ноль-ноль. Люди оповещены, кому и когда вступать? Твердый график есть?
Седов кивнул головой.
— Распорядитесь немедленно, чтобы люди отдохнули. В любую минуту мы должны располагать свежими головами.
Только теперь Задняя Улица удосужился поглядеть на меня.
— Можешь идти.

34

Солнечное затмение... Сигнал тревоги... Газ... Всюду газ... Смерть Доминчеса. Похороны. Еще одна бессонная смена. И вот это изматывающее заседание перед рассветом.

Как только я вспомнил о гибели Доминчеса, сон у меня как рукой сняло. Усталость тоже.

Невольно я задержал шаг. Куда мне идти, что делать? В пору завыть — до того тошно на душе.

Голова ничего не соображает, ноги сами несут меня. Заворачиваю в операторскую — там наших уже нет, другая вахта занята подготовкой к очередной обкатке...

— Ты чего тут торчишь? — удивляется диспетчер. — Не знаешь, что ли, — четыре утра!

Я молча сажусь на скамью, что-то меня удерживает здесь. Может быть, я жду, что кто-нибудь заговорит со мной о моем погибшем друге?

Двое топчутся возле приборов. Холодом веет от расходомеров, уровнемеров, потенциометров и манометров. Приборы абсолютно равнодушны к человеческому горю. Только за щитом беспрерывный гул, точно там, где-то вдали, шумит старая мельница над прудом.

Мне приятно думать о водяных мельницах над тихими прудами, хоть ни одну из них я сроду не видел.

Равнодушно разглядываю журнал начальников смен. Тут, конечно, ничего не напишут о том, что такого-то числа в такой-то час погиб рядовой от производства Доминчес Алонсо. Не будет ни строчки и в журнале пробега оборудования, и в папке для разрешений на огневые работы, и в рапорте аппаратчика колонны синтеза...

Те двое возле щита ведут между собой какой-то свой, далекий от моих мыслей, разговор.

— Мне не нравится давление, — заявляет один.

— Пробу, еще раз пробу, — бормочет другой.

— Потребуются три колбочки, все вышли из строя.

— Давай уровень!

Потом диспетчер докладывает кому-то по телефону:

— Берем двенадцать кубов. Устойчиво... Ничего не могу сказать, пока берем. Да, да, не можем сказать ничего определенного. Что? Расход аммиака 385.

Я уже собрался уходить. Вдруг вбегает девчонка, кажется, её зовут Зиночкой; остановившись возле пожарного крана, запрятанного под стеклом, долго-долго поправляет прическу.

Не очень-то ее волнует предстоящая обкатка, даже то, что несколько дней назад погиб человек.

Или я просто злюсь на людей и возвожу на них напраслину?

Спустившись вниз, вижу освещенные окна в красном уголке. Неужели в суматохе забыли потушить свет?

Иду туда, с силой толкаю дверь и чуть не падаю в объятия Валентина.

— Кстати пришел, — говорит мне комсорг с видом человека, который был уверен в том, что я непременно загляну в этот неурочный час в красный уголок. — Помоги выпустить стенную газету, к утру она должна висеть на видном месте.

С ума он, что ли, сошел?

— Мне наплевать на твою листовку...

Он растерялся, до того неожиданным было мое заявление.

— Ты это серьезно?

— Сейчас мне не до шуток!

— Послушай, — говорит Валентин, понизив голос и вплотную подойдя ко мне, — я попрошу тебя об одном небольшом одолжении. Сможешь ли ты на пять минут, понимаешь, только на пять минут, забыть о том, что я комсорг? Этого времени мне достаточно, что-

бы заехать тебе в морду. Ну, чего тебе стоит, будь добр, уважь просьбу.

Глаза его налились кровью, он себя еле сдерживает; можно поверить, что такой и ударит. Человек довел себя до белого каления.

— Это невозможно, — отвечаю ему. — Я же не могу исключить тебя из комсоргов, даже на пять минут, сам понимаешь...

Валентин отступается.

— Мне больше всех нужно, что ли! — кричит он в сердцах и, нахлобучив на голову полинявшую серую кепку, выходит, хлопнув дверью. Да так сильно, что чуть не срывает ее с петель.

Я аккуратненько, как и полагается, тушу свет и не спеша выхожу вслед за комсоргом. «Он не имеет права шуметь на меня и наседать, — говорю я себе.— Пусть разоряется перед теми, кто ему взносов не платит».

Но, пройдя несколько шагов, я чувствую, что со мной что-то случилось. И это «что-то» возвращает меня обратно.

В самом деле, ему, Валентину, больше всех нужно, что ли?

Может быть, я вернулся ради памяти Доминчеса, не знаю.

Два часа провозился, оформляя стенную газету. Потом еще полюбовался на свою работу, так здорово у меня получилось.

Когда газета была уже готова, я вписал знакомое стихотворение Патриса Лумумбы:

Сыновья мои! Вы плывете
Через море в клетках железных
На продажу в чужие страны...

...Баобабы — мудрые старцы —
Видят утро новых времен...

Когда я выбрался из цеха, над головой уже ярко светило солнце. И где-то в степи громко-громко гудел паровоз.

Наверное, подходил уфимский поезд. Шестьдесят девятый, бывший мой.

35

Проспал я почти двенадцать часов.

Сегодня надо себя чем-то занять. Но чем?

Впервые я почувствовал, как не хватает мне Амантаева. Он опять в отъезде.

Не пойти ли к Айбике?

Я двинулся по людной улице, продолжая терзать себя вопросом: виноват я в смерти Доминчеса или нет? Формально, по уголовному кодексу — нет. А по законам сердца? Да, виноват. Разве я не видел, как унижала его Лира Адольфовна? Я должен был сказать ей, что это низко, что это нечестно, что это...

Мог бы сказать, конечно.

Люди! Чего только не делаете вы друг с другом!

Я еще окончательно не решил, идти ли мне к Айбике. Может быть, сегодня не стоит. Я не сумею говорить ни о чем, кроме как о Доминчесе. А с девчонками о смерти говорить не полагается.

Афиши приглашают на лекции. О чем только лекторы не говорят, в чем только не убеждают! А вот бокс. Но это завтра...

— Здравствуй, Аюдарчик!

Поворачиваю голову — Пискаревский. После того, что произошло в его квартире, я как-то избегал его, и мне до сих пор это удавалось.

Он держит себя так, точно мы самые закадычные приятели, если не друзья. Это надо уметь!

— Здравствуй.

— Афиши читаешь?

— Афиши читаю.

Я смотрю мимо него на знакомый плакат на стене продовольственного магазина: «Прежде чем рассердиться, сосчитай до ста, прежде чем обидеть другого — до тысячи!»

— Ты не в духе?

Его голос доносится как будто издали. Я напрягаю все силы, чтобы поддержать разговор, ненужный ни ему, ни мне.

— Что с тобой?

Не хотелось ему говорить о Доминчесе. Он, червяк, ничего в таких переживаниях не смыслит. Но другого живого существа подле меня нет, а мне нужен, очень нужен человек!

— Я убил Доминчеса, — говорю я.

Он даже побледнел. Всегдашней наигранной улыбки как не бывало. Даже оглянулся, не подслушивают ли нас.

— С этим не шутят, браток.

— Мне сейчас не до шуток.

Неужели он всерьез поверил, что я убил Доминчеса?

— За что? — брови его вскинулись.

— Ни за что.

— Как ни за что? Просто за так?

Он говорит шепотом, а я рычу. Мне все равно.

Пискаревский порядком струхнул, даже отступил от меня на почтительное расстояние.

И тут я объяснил ему все. И покаялся, что не проявил дружеской чуткости к человеку. Но Пискаревский меня не дослушал.

— Ну и ну! — Он рассмеялся неприятным смехом. — При чем здесь ты?

Убедить он меня не убедил, но оставил отдушину для самоутешения.

— Раздавим по маленькой? — спросил Пискаревский, беря меня под руку.

В эту минуту мне было все равно.

— Раздавить маленькую не отказываюсь, но к тебе я больше не ходок.

— Не хочешь, не надо, — немедленно согласился он. — Насиловать не буду. На этот случай у меня заготовлен укромный уголок.

— Где же он, твой укромный уголок?

— Тут, совсем недалеко, — сказал Пискаревский, пытаясь увлечь меня за собой.

— Должен же я знать, куда иду!

— Ладно, упрямец, объясню, — сказал он. — Я подружился с иностранными инженерами, с теми, что нам полиэтилен монтируют. Иногда захожу к ним один, иногда вместе с девчонками. Они и рады. Они же погибают от скуки. Девчонки танцуют, я пою. У меня неплохой голос. Вот они и ставят мне стопочку-другую. Почему бы не поживиться за счет иностранцев? А?

— Ты в своем уме?

— Пока в своем, — усмехнулся Пискаревский. — Я же в курсе политики: общение с иностранцами нынче в вину не ставят. Спекуляцией не занимаюсь, лишнего не болтаю. Тут уж комар носа не подточит.

— Комар носа не подточит... Эх, ты! А подумал ты о самой простой этике?

— Какой же может быть разговор об этике с буржуазными специалистами? Вот мы с тобой ради смеха пообещаем познакомить их с нашей Нагимочкой, а потом надуем... Вот тебе и этика!

Я подумал: может, ослышался?

— Пискаревский, сознайся: ты это сказал просто так, из трепачества. Верно?

Он расхохотался.

— Я могу доказать, если не веришь...

— Сволочь! — сказал я и, развернувшись, ударил его в лицо.

Он качнулся и попытался улизнуть. Я схватил его за ворот рубахи и со всей силы ударил еще раз. Одним словом, осатанел от ярости.

Он заорал, как помешанный... Была не была, я еще разок развернулся и ударил, чтобы не орал, гад. Хороший был удар.

Пискаревский, изловчившись, укусил мою руку, вывернулся и пустился наутек.

Конечно, на крик сбежались люди.

— Подумать только, драка в самом центре города! — воскликнул какой-то человек в шляпе.

— Куда только смотрит милиция?..

— Позволю себе заметить, вы и понятия не имеете, за что я всыпал этому парню! — обозлился я.

— Боюсь, тебе придется разделить участь всех хулиганов, — проговорил человек в шляпе.

Меня окружила толпа. Жгучий стыд охватил меня: надо же было так влипнуть! Не станешь же тут, на улице, объяснять, что за тип этот Пискаревский. И как докажешь, что ты прав, а он подонок? Разговор у нас был с глазу на глаз. Отвертится, как пить дать.

— Лоботряс! — истерично кричала какая-то дамочка с полосатой сумкой в руках. — До чего дошла молодежь!

Но больше всех обидела меня маленькая девочка. Она протиснулась вперед и очень вежливо обозвала меня «скеписом». Тут подошли дружинники. Трое ребят, один другого здоровее.

— Ну, двинулись! — приказали они не особенно дружелюбно.

Сопротивляться было бесполезно.

36

Штаб их помещался в одной из комнат городской гостиницы. Все-таки это не милиция. Милиции важен факт. У них четкий подход: ударил, значит, виноват! Что им до того, что я ударил эту сволочь за дело. Нет у них такого оправдательного параграфа. А с дружинниками, пожалуй, стоит поговорить.

Не успели мои строгие судьи спросить-допросить меня, по всем правилам оформить протокол, как в комнату вошла новая группа дружинников во главе с очкастым парнем. А среди них — Айбика!

Девчонка, у которой глаза как два Азовских моря, тоже носила красную повязку на рукаве.

Сначала она не обратила на меня внимания: мало ли кого приводят в их штаб... Но как только стали докладывать очкастому обо мне, Айбика обернулась и чуть не лишилась сознания. Во всяком случае, мне так показалось.

Она шагнула вперед и, перебивая докладчика, сказала:

— Ребята, произошла ошибка. Вы же... моего жениха прихватили. Не может быть, чтобы он так здорово провинился...

В штабе воцарилась тишина, но в следующую минуту она сменилась раскатами смеха. Ребята чуть животы себе не надорвали.

— Если у тебя такой жених, черт бы его драл, то откажись, пока не поздно!

— И надо же в такого типа влюбиться!

Однако Айбика стояла на своем.

— Отпустите его, ребята, на мою расправу.

Тут возникло замешательство. И просьбу ее, по-видимому, хотели уважить, и меня, хулигана, не положено отпускать.

— Ты вот что, добрая душа, одного его из дому не отпускай, — посоветовал старший среди дружинников. — Он у тебя, видимо, пошаливает.

— А еще лучше — держи его на привязи.

— Да ну вас! — начала сердиться Айбика. — Подите вы со своими советами!

Один дружинник сказал:

— Какого дьявола мы проявляем снисхождение? Надо по всем правилам проучить его, пусть дней пятнадцать на виду у всего города под конвоем походит.

Безусый мальчишка раздраженно фыркнул.

— А может, он вовсе и не жених?

Айбика вызывающе откинула голову и, совсем распалившись, произнесла:

— Так, значит, вы не верите мне?

Она приподнялась на носки и — поцеловала меня в губы.

После этого обиженным голосом добавила:

— Вы же, ребята, меня знаете. Стала бы я целоваться с кем попало!

— Предположим, не стала бы...

Первым сдался очкастый, самый главный среди дружинников. Я видел его у нас на комбинате.

— Да чего ты кипятишься, в самом деле, — сказал он. — Если обещаешь принять самостоятельные меры, получай своего жениха. И сматывай удочки, пока не передумали.

Она не стала мешкать, подхватила меня под руку и увела.

Я молчал. События развивались помимо моей воли. Когда мы отошли от штаба на один квартал, Айбика сурово проговорила:

— Не можешь шагать побыстрее?

— Торопиться-то, пожалуй, некуда.

Тут она со всего маху дала мне пощечину.

— Ты что, очумела?

— Счастливо отделался, — сказала Айбика, шагая впереди меня.

На меня что-то нашло, и я засмеялся. И даже объяснить не мог, почему на меня смех напал. Наверное, нервы расшалились.

— Право же, мне вовсе не смешно.

Ее ресницы взмахнули крылышками и опустились. Мне подумалось: вот сейчас расплачется навзрыд.

— Шагай! — повторила Айбика, сдержав себя.

Я не стал спрашивать, куда мы идем. Ей, наверное, стыдно было в этот вечерний час прогуливаться со мной по городу, поэтому она направилась прямо в степь, начинавшуюся сразу за крайним домом.

Я шел и думал: почему она выгородила меня? Зачем ввязалась в эту историю?

Тут я впервые увидел степь. Не то чтобы впервые, и раньше видел, а вот с девчонкой по степи бродил впервые. Природу каждый любит по-своему, это известно. У меня, например, не было к ней азарта, страсти, что ли, а тут случилось со мною полное прояснение. Может быть, от пощечины, которую я получил?

В степь мы вошли как в море, потому что, казалось, у нее нет никаких видимых границ, если, конечно, не брать в расчет горизонт.

Только слева вытянулась гряда гор. В этот вечерний час горы принахмурились, как бы недовольные приближением ночи.

Мне подумалось: хребты, возомнившие себя стражами степи, вообще многое себе позволяют. Они, например, стесняют степь, делая ее жизнь неудобной, то загораживая от солнца, то не пропуская ветер.

Вот и сейчас гряды гор сбрасывают на степь черные тучи, и ей ничего не остается делать, как принимать этот ненужный дар.

Солнце вело себя тоже как-то несолидно: играючи уходило, посылая в просветы туч свои золотые стрелы и превращая тучи в диковинные воздушные замки.

Я подумал: какой я невезучий! Встретился с девчонкой, и на тебе — дождь! А что он упадет на нашу голову, в этом у меня не было никакого сомнения.

Я мельком взглянул на Айбику: что она думает об этих тучах? Она даже на них не смотрит! Красивые девчонки в красивой степи как у себя дома!

Айбика шла, ступая легко, чуть придерживая рукой подол, которым играл ветер.

Вскоре начал накрапывать дождь.

— Возьми мой пиджак, — предложил я Айбике, — промокнешь.

— Не надо. Не сахар, не растаю.

— Понимаю, я человек никудышный, но при чем здесь пиджак? Он же не дерется, он смирный.

Нет, Айбика не улыбнулась шутке и не взяла пиджак. «Как хочешь», — подумал я.

Когда дождь усилился, я сказал ей честно:

— Представь себе, я не думал, что ты такая храбрая.

Она резко остановилась. Смотрю и глазам своим не верю: плачет.

Разве я сказал что-нибудь обидное? Или дурное?

— Ну, зачем ты идешь за мной?

— Между прочим, почему я не должен идти?

— Я же тебя ударила!

— Зато поцеловала!

Тут она растерялась. И не могла вымолвить ни слова.

За горами блеснуло: один раз, другой. Молнии прочертили степь.

— Спрячемся?

При свете молний я заметил вблизи что-то вроде ограды.

— Нет.

Нет так нет. А уже ночь.

Тут, я вам скажу, загромыхало так, что меня в дрожь бросило. Ни разу в жизни не встречал грозу в степи, да еще ночью.

Мы шли, не разбирая дороги.

— Не пойму, что ты за человек, — сказала Айбика.

Что я мог ответить?

Должна бы знать, что не только люди, но и кони бывают разные. Одни с ходу берут препятствия, а дру-

гие нет. Другие долго топчутся перед барьером, прежде чем осмелятся рвануть вперед.

Может быть, рассказать ей об уфимских жуликах?

В артели по производству кроватей и других скобяных изделий началась моя школа жизни. Грязные люди наступили своими грязными ботинками на мою душу...

Но я не стал ей ничего рассказывать, уж лучше в другой раз. Не в степи, во время грозы, а где-нибудь на скамейке, под полною луною я расскажу ей о себе, ничего не утаивая.

Совсем рядом ударила молния. Яркий свет ослепил нас. Я инстинктивно пригнул голову и крепко зажмурился.

— Дерево загорелось, — отчетливо произнесла Айбика.

И в самом деле, дерево пылало, точно облитое бензином. От него во все стороны разбежались тени, большие и маленькие. Казалось, что в степи танцуют черные черти, напуганные огнем.

— Может быть, повернем назад? — спросил я. — Добежим до города, спрячемся где-нибудь в подъезде?

На подъезд она не согласилась. И правильно, что не согласилась. Такая ночь бывает один раз в жизни.

Я готов был идти с этой девчонкой хоть вокруг света.

— Ведь это здорово — идти под молниями,— храбрилась Айбика. И тут же с опаской прошептала: — А как подумаю, что любая может испепелить, душа в пятки уходит.

И все-таки мы брели дальше.

Была степь, был ливень. И мы с нею.



37

Только что я проводил Айбику домой, сам же, вернувшись, сменил белье и согрелся стаканом чая.

Я все еще под властью ночи, ушедшей от нас, ночи, что была с ливнем.

Уймись, браток, говорю я сам себе. Всему есть границы! Лучше тебе вздремнуть часок-другой. Перед тем, как идти на вахту.

Да разве уснешь в такое утро! Надо ходить и ходить — это идея! Может быть, даже пройтись мимо ее общежития, где она, наверное, уже спит.

Пусть, думаю, себе спит.

А мне нужно, просто необходимо встретиться с солнцем, которое я вчера вечером провожал в степи. Мне хочется кое-что рассказать ему.

Оно, конечно, поймет!

Я выбегаю на улицу. Ух, как здорово дышать свежим воздухом, идущим из степи!

Вот и солнце-бродяга! Есть к тебе разговор!

Я стою один на пустынной улице и говорю: нам с Айбикой не за что краснеть перед тобою, слышишь? Это я твердо знаю. Мы ничего лишнего не сказали, между прочим, друг другу, не клялись и не божились. Если хочешь знать, просто два наивных человека мокли под дождем, считая это необходимым, может быть, даже красивым.

Если не веришь мне, спроси у самой ночи, она подтвердит, честное слово!

Что верно, то верно, там, в степи, мы, пожалуй, были малость ненормальными. Почти ошалелыми. Надо же представить себе: брели и брели под ливнем. Сна-

чала шли по асфальту, затем не разбирая дороги. И снова по мощеной дороге, и снова по диким цветам. Это до тех пор, пока мы совсем не перестали замечать, где мы идем и что мы говорим друг другу.

Еще и еще раз я спрашиваю себя: что заставило меня идти за нею? Конечно, она, дерзкая девчонка, мне понравилась с первой встречи. Что тут скрывать! С другой я ни за что не согласился бы мокнуть в степи под дождем и ходить под молниями. А с Айбикой это вроде счастья!

И тут же задаю себе новую задачку: почему она возилась со мною, с олухом?

Неужели есть на свете вот такие чистые души?

И снова перебираю в памяти все, что пережил за эту ночь.

...Постепенно тучи сместились за горы, и только бесшумные зарницы полыхали на краю степи, озаряя наши лица, наши глаза.

— Вот я тебя поцеловала там, в штабе, перед ребятами. А без людей я еще никогда никого не целовала, — сказала она и тут же разревелась. — И вообще я поступаю неправильно, не так, как нас учат жить. Разве легко жить так, как нас учат?

Я порядком растерялся от такого вопроса.

Была степь. Был ливень. И мы с Айбикой.

— Что ты думаешь о жизни? — спрашивала она, наревевшись вдоволь.

И сама же отвечала:

— Ничего ты не думаешь.

Разумеется, она права.

— Для одних жизнь — это время от подушки до подушки, от завтрака до ужина, какое-то переползание из суток в сутки. Ну разве это счастье?

Откуда у девчонки столько вопросов?

Я отмалчиваюсь. Мне нравится, как она говорит, мне нравится слышать ее голос. И больше ничего мне не надо.

Но про себя думаю: «А ты, Хайдар, что ты за личность? Чему равен твой коэффициент необходимости для людей? Ради чего ты пришел в эту жизнь и что собираешься делать?»

— Разве я лучше тебя? — продолжает исповедоваться Айбика. — Ничуть не лучше. Может быть, я и сама хороша только тем, что умею говорить красивые вещи?..

Была ночь. Был ливень. И мы с Айбикой.

Мы оба как будто проснулись в эту ночь. Айбика, захлебываясь, говорила о жизни, а вслед за нею и я.

Неужели негаданно пришла любовь?

— Тебе, Хайдар, просто не попадались настоящие люди, — убеждала меня Айбика. — А когда попадались, ты, как слепой, проходил мимо. Ведь верно? Не было у тебя чутья на хороших людей. Ведь верно?

Она на ходу взяла меня за руку.

— Ты еще просто не готов к большим делам. В этом все дело. А когда человек ничего не совершил, немного боязно ринуться вперед. А ты, честное слово, не трусь! Если у тебя когда-нибудь не хватит решимости или ты засомневаешься перед трудностями, а это со всяким случается, то скажи мне. Я обязательно появлюсь. Ладно?

— Ладно! — закричал я.— Ты приходи, когда мне трудно!

Вот какая была эта ночь.

Валентин по очереди подходит к членам бригады и говорит одно и то же:

— Сегодня, сразу после работы, открытое партийное собрание. Приходите. Будет выступать секретарь горкома.

Я уже краешком уха слышал, что будут обсуждать новый проект Программы партии. Пожалуй, это будет самое интересное собрание с тех пор, как я пришел в цех. Любопытно, что будут говорить наши ребята.

Наконец комсорг направляется в мою сторону. Однако, не дойдя до меня шага три, резко поворачивает и идет в операторскую, где сегодня дежурит Нагима. По-видимому, она тоже удостоится приглашения.

Ко мне Валентин не подошел. Наверное, решил, что я прочитал объявление у входа. А мне хотелось, чтобы он заговорил со мной как человек с человеком. Это очень важно после смерти Доминчеса и после ночи в степи.

До конца смены никто ко мне не подошел. Будто меня и нет, будто я не существую. Неужели все без исключения махнули на меня рукой? «Допрыгался, мальчик, — говорю я сам себе. — Уже знают о драке. Выходит, никакого тебе доверия!»

В этот день я не тороплюсь уходить. Сдав вахту, торчу возле цеха, затевая невинные разговоры то с одним, то с другим. Быть может, кому-нибудь придет в голову пригласить меня с собой?

Отрывисто разговаривая, проходит Задняя Улица об руку с Прохором Прохоровичем.

Вижу Искандера Амантаева, который, сокращая путь, идет прямо по шпалам внутризаводской железной дороги в сторону соседнего корпуса, где будет со-

брание. Там уже стоит голубая «Волга» — горкомовская машина. Может быть он, стойко переносивший все мои выходки, сжалится надо мной и позовет на собрание, куда устремились все работники цеха, свободные от вахты? Но Амантаев не заметил своего подшефного, одиноко стоявшего у цеха.

Вдруг слышу, кто-то говорит мне:

— Ты чего задержался? Идем вместе!

Это Карим и Салим, «ремесленники».

— Я вас догоню, — говорю я им независимо. — А сами почему опоздали?

— В столовке были. Перекусили на скорую руку.

Вслед за ними бегут три девчонки, уплетая на ходу булочки: Галя, Дина и Валя. Они только сегодня вернулись с курсов, учились на операторов. «Сразу на сухомятку сели, и так до первой получки», — думаю я, следя за тем, как они одна за другой пробираются по изрытой территории завода.

Я остаюсь один. И невольно поднимаю голову, смотрю на башенный кран, хотя прекрасно знаю, что в эту смену работает не Айбика.

Кран стоит между двумя корпусами, между отделением синтеза и переработки и грануляционной башней. Ему тесновато, повернуться некуда, но что поделаешь, если нужно штурмовать сроки.

Работа кипит, ребята на все сто процентов стараются использовать световой день. Я слежу за тем, как семитонную, длиной в десять метров панель поднимают ввысь. И вдруг на высоте в тридцать метров — это же высота десятиэтажного дома — лопнул оттяжной блок. Порывом ветра край панели стало заносить на сторону. Еще минута — и она рухнет вниз, ломая и круша все на своем пути.

Я замер, боясь шелохнуться.

Никто, по-видимому, не заметил, что произошло. Или крановщик растерялся. Мало ли что случается в жизни.

Я крикнул:

— Эй, вы там!

Вижу, не перекричать мне комбинатского грохота. Бросился на лестницу, она была ввинчена в обшивку башни.

Поднимаюсь и ору, точно очумелый. А секунды бегут, это я осознаю отчетливо.

— Ого-го! Эй, вы там!

Там, наверху, замешательство. Они услышали меня. И ребята из «Союзтехмонтажа» показали, на что они способны: свисая головами вниз, рискуя сорваться, двое монтажников ловко подхватили конец троса, обмотали его вокруг мачты и крепко-накрепко стянули панель сжимом.

На другой день, когда я пришел на вахту, только и разговоров: какой-то безвестный рабочий помог предотвратить аварию на грануляционной башне. Некоторые были уверены, что рабочему полагается премия.

— Если не премия, то слава, — добавляли другие.

Я, естественно, помалкивал. Ну, что я сделал? Даже за конец троса не подержался. Какой же подвиг в том, что я кричал?

Представляю себе такую сценку с Айбикой.

— Ну, рассказывай, герой, чем ты прославился?

— Кричал. Да по лесенке на уровень четвертого этажа взобрался...

— Только и всего?

— Только и всего...

Честное слово, на смех поднимет. Не нужна мне такая слава.

Между тем обо мне никто и не думает. Никому в голову не приходит, что Хайдар Аюдаров предотвратил аварию.

Я втихомолку посмеиваюсь: пусть и Задняя Улица, и Прохор Прохорович, и другие продолжают считать, что я так себе человечек. Они не знают, что с недавнего времени меня точно подменили.

Но что со мною? Никогда, поверьте, я не чувствовал себя вот таким, чуточку повзрослевшим.

Неужели я стал серьезней оттого, что увидел, как умер Доминчес? Возможно, именно в ту самую минуту, когда я во все глаза смотрел на почерневшие губы Доминчеса, я сказал самому себе: «Довольно, парень, чертоломить в жизни. Пора взяться за ум».

Или же, войдя в бригаду слесарей, я поутратил наигранный цинизм и ощутил запоздалый стыд перед людьми?

Что с тобою, Хайдар? Может быть, всему причиной Айбика? Откуда она, такая хрупкая на вид, берет силу, чтобы помочь человеку стать другим?

Все-таки сложное создание человек. Честное слово!

Влюбленному положено читать стихи, хотя бы стихи в прозе. И я читаю:

«Дорога пыльная. Дорога дальняя. И трудная. По ней идет маленький человечек. Я не знаю точно, сколько ему лет. Может быть, десять, а может, и все двенадцать.

Мальчишка как мальчишка. Веснушки рассыпаны по всему лицу. Торчат непослушные вихры. Пятки чуть грязнее, чем положено конопатому в его возрасте.

Разумеется, я уважаю такого босоногого открывателя. Он в самом начале своего пути и совсем недавно вскинул на плечо тяжелый узелок. Пока он

ничего не успел совершить, пока ничем не смог порадовать людей, у него все впереди.

А впереди — там, где синеют горизонты, где дымят трубы, где ворчат тракторы, — жизнь. Маленький человечек пока не знает, что его ждет в той дали.

Другой, возможно, стал бы убаюкивать босоногого открывателя сказками, обещать ему золотые горы. Я хочу быть честным перед этим вихрастым мальчуганом. Я не сулю ему рая. Ведь не каждый короткий путь — самый близкий. Печали, как и радости, могут быть долгими.

Однако в этом еще ничего не смыслит человечек. Он бездумно шагает вперед, к своему будущему. Он, веснушчатый брат, подбадривает себя только песенкой и озорным свистом.

Я говорю:

— Здравствуй, неунывающее племя!

У нас будет мужской разговор.

Шагаешь? Шагай, браток! Если хочешь, мы пойдем рядом. Ты да я.

Я ведь знаю: беседа сокращает путь. А мысли летят быстрее звезд!

Я расскажу тебе все, что знаю о людях, о дорогах, о жизни... Верный спутник — это половина пройденного пути. Ты, мой мальчик, смело можешь положиться на меня. Если ты устанешь, я не брошу тебя в беде. Мы вместе будем встречать опасности, выдержим любой натиск — я кое-что понимаю в этом деле. Недаром за мною восемнадцать лет пути! Если будет нужно, я отыщу в своей памяти добрые слова, вселяющие надежду и веру и закаляющие волю. Они помогут тебе высоко нести голову. Тайну доброго слова раскрыли мне удивительные люди: моя мама, Искан-

дер Амантаев — есть такой человек на этом свете, и одна девушка с бездонными глазами.

Выше голову, мальчик!

Пусть километры пробегают под нашими ногами. Пусть хребты гор и орлы завидуют нам. Пусть мечта засияет как солнце».

39

— Я переезжаю, Искандер Амантаевич, — сказал я, втискивая в чемодан свои пожитки. — В общежитии уголок выделили. Спасибо вам за приют и ласку. Не поминайте лихом.

Он, конечно, удивился. Даже очень. И не знаю, чему больше: тому ли, что я столь внезапно решил переехать, или тому, что заговорил с ним на «вы».

— И обязательно так спешно?

— Не обязательно, но желательно.

Не могу же я ему объяснить, что со мною происходит что-то очень важное.

— Ну что же. В твоем возрасте не предпринимают ничего без предварительного и тщательного обдумывания, — проговорил он. — Сам понимаешь, я тебя не гоню. И на будущее время эти двери для тебя открыты. Твой диван тоже никто не займет...

Наверное, мужчинам так и положено прощаться: без лишних слов и воздыханий.

Но в самый последний момент я чуть не позволил себе одну сентиментальность. На правой щеке Амантаева, чуть ниже уха, выделялся шрам. След немецкой пули: белый молочный след на смуглой коже. Не знаю отчего, но мне вдруг отчаянно захотелось дотронуться до этого рубца пальцами.

Я, конечно, не сделал этого. Но про себя сказал: «Мальчишки, питайте уважение к солдатским шрамам!»

Вещи уложены, пора протянуть руку на прощание, сказать: «До свидания!» И тихо закрыть за собою дверь холостяцкой квартиры. Но я не спешу. Я усердно пытаюсь запереть чемодан, делая вид, что мне это не удается. Не хочется уходить.

— До свидания, товарищ Амантаев...

— Иди, друг, иди!

Новая моя обитель почти рядом, через четыре дома, в тридцать восьмом квартале. Что уж тут скрывать, по моей просьбе Валентин пустил меня к себе в комнату. Кто-то выехал.

Комендант, однорукий человек, указал мне койку у окна, третью по счету.

— Кто раньше занимал эту койку?

— Сменщик Доминчеса. Сейчас он на курсах.

Вот где еще встретились. Опять он на моем пути, друг Доминчес.

— Устраивайся, чего растерялся, — проговорил комендант, собираясь уходить. — Порядочек у нас строгий: самообслуживание. За разбитый инвентарь платим своими денежками. Гостей держим до отбоя, потом выпроваживаем. Еще что? Да. Кипяток к твоим услугам, титан работает круглые сутки.

Пока я устраивался, размещая свое имущество по шкафам и тумбочкам, в комнату вошел невысокого роста парень, голый до пояса. Наверное, после обтирания.

— Новенький? Как звать-величать?

— Хайдар.

— Меня можешь называть Садыком.

Природа не пожалела на него рыжей краски, даже из ушей его торчали огненно-желтые волосинки.

— У того парня подушка была с оранжевой наволочкой, — пояснил Садык. — Ты можешь выбирать любой другой цвет.

Только теперь я обратил внимание на подушки: у всех наволочки разные. У Валентина белая, у Садыка черная...

— Ты из какого цеха? Что-то ни разу тебя не видел. А я — аэрогель!

У химиков так уж принято: «я—полиэтилен», «я—пена» — то есть из цеха, выпускающего пенообразователь. Кто в каком цехе работает.

— Почему у тебя черная наволочка?

— Вот чудак! Реже приходится стирать.

...Тридцать восьмой квартал — теперь маленький мой мир. Я, как путешественник, открываю его, это тоже, между прочим, очень интересно.

Этажом ниже, например, живет старая большевичка. Она уже собрала игрушки со всех квартир и устроила у себя что-то вроде библиотеки... игрушек. Сосед ее между тем заделался крестным отцом всех новых улиц. Он самый главный советчик в нашем горсовете.

Этажом выше обитает наш Катук. Через день, точно по расписанию, у него потасовка с супругой.

Первый раз, когда раздался женский крик на верхней площадке общей лестницы, я бросился на помощь. Вижу — стоит великанша. Ничего с ней, между прочим, не происходит.

— Это вы кричали? — спрашиваю, чуть растерявшись.

— А кто же еще?

— Мне послышалось, что кричали: «Разбой!» и «Караул!»
— Ну и что же?
— Мне показалось, что кому-то нужна моя помощь...
— Мне твоя помощь не нужна, голубчик, — рассердилась она. — Я сама себе первая помощница!
Я совсем растерялся.
— Так почему же поднимаете шум?
— Пусть соседи слышат, что я опять одержала верх над своим мужем...
Вот те на!
Когда я вернулся в комнату, Садык покатывался со смеху — слова вымолвить не мог. Он, конечно, насмехался надо мной, тупым рыцарем.
Еще в нашем подъезде жил веселый старичок. Каждый раз при встрече он вежливо снимал фуражку и приглашал к себе в гости:
— Заходи, парень, на чашку чаю, будет одна интеллигенция: я и мой брат-дворник...
...На тумбочке Валентина — несколько томов по математике и химии. Даже какая-то повесть есть. На обложке черной и красной красками намалеваны не то дома, не то какие-то пещеры. И желтой краской небрежно выведено: Сильвия Маджи Бонфанти, «Переулок солнца».
«Ого, — думаю, — новый интерес у нашего комсорга обнаружился».
Открываю первую страничку и вижу: лежит записка на имя Айбики: «Прочти обязательно!»
С каких это пор Валентин подбирает чтение для моей зазнобы? Это открытие не столько огорчило, сколько позабавило меня.

Знал бы он о нашей грозовой ночи в степи! Напрасно парень старается.

В себе и в Айбике я, разумеется, уверен. Но как ни забавно было мое открытие, а что-то шевельнулось в душе. Наверное, червячок сомнения.

Отправляясь на работу, мы теперь приводим себя в порядок: старательно освежаемся «Шипром», надеваем чистые рубашки — обязывает положение.

До обеда нечего и думать о встрече с Айбикой. Я — в цехе, она — на своей верхотуре. Среди бела дня не полезешь на башенный кран, чтобы назначить ей свидание. Надо ждать, когда она спустится с облаков на грешную землю, а это происходит в обеденный перерыв.

Я подкарауливаю ее на лестничной площадке, напротив нашей новой столовой.

— Айбика, погоди! Не слышишь, что ли?

Во мне радость бьет ключом. А она, вижу, не разделяет моих восторгов: хмурая, серьезная, будто незнакомая.

— Что с тобой? С левой ноги встала?

Разве дадут человеку поговорить с девушкой по душам? Почти каждый, кто проходит мимо, считает своим долгом позубоскалить:

— Послушай, приятель, где подцепил такую красавицу?

— В счастливой рубашке родился парень!

Возле нас останавливается какая-то незнакомая мне девчушка:

— Пойдем со мной, Айбика, а то без обеда останешься с этим дурнем.

Я отбиваюсь, отшучиваюсь, а разговора с Айбикой не получается.

— Хайдар! — внезапно кричит мне Барабан. — Более укромного места для свидания не нашел?

— Отстань! — отвечаю ему и снова говорю Айбике: — Можешь ты объяснить, почему надулась? Ничего не понимаю, честное слово.

— Тут и понимать нечего...

— Замахнулась, так ударь. Будешь говорить или нет?

— Ты что же от меня скрыл, что у тебя в Уфе невеста?

Ах вон оно что! Вот где собака зарыта! Кто же ей мог сболтнуть?

— Ну, была такая девчонка и сплыла. И никогда она не была моей невестой. Я с ней распрощался. Могу честное слово дать.

На груди Айбики приколота астра. Бледно-розовая с красными жилками. Кто ей мог подарить?

— Ну, я пойду обедать, — заявила она.

— Подожди, Айбика.

Неужели люди могут расстаться так неожиданно и неразумно? Мне стало страшно от этой мысли, я схватил Айбику за руку.

Но все напрасно. Это я понял позже.

— Ты хочешь оставить меня без обеда? — холодно спросила она.

— Кто тебе рассказал о Нимфочке?

— Я получила записку.

— Я и сам со временем все бы тебе рассказал. Кто написал записку?

— Разве это важно?

Вижу: чем дальше в лес, тем больше дров. Она теперь считает меня лжецом и бабником.

— А я думал, что ты передовая девушка...

Сказал это и ужаснулся: вот уж не к месту!

Замолчала. Обиделась не на шутку.

— Эй, Валя, купи и для меня талончики! — вдруг крикнула она, увидев в толпе Валентина.

— Что взять на обед?

— Что и себе...

Я не стал ее удерживать. Пусть идет к своему Валентину и вместе с ним ест щи из свежей капусты и гречневую кашу...

40

Это только сказать легко: иди к своему Валентину. Она, эта великолепная девчонка, с каждым часом становилась мне дороже.

Неужели Пискаревский подбросил ей записку? Ведь, кроме него, никто не знал, что ко мне приезжала Нимфочка.

Садык, мой новый товарищ по общежитию, никак не дает мне сосредоточиться. То жует без конца — в его тумбочке целый продовольственный склад, — то болтает, о чем заблагорассудится. Никакого от него покоя.

Он собрался провести свой выходной день среди родичей, они живут где-то недалеко, в деревне.

— Поеду разживусь. — Он подмигнул мне. — Пока терпят. Надо уметь жить. Им за мой счет никогда не разжиться. В чем, в чем, но в этом я уверен.

Тут я ему выдал, сказал все то, что думал о нем. Прямо как Амантаев. Садык взял свой узелок и уехал.

Валентин сегодня рано завалился спать. Завтра у него чуть не на рассвете какое-то общественное мероприятие.

Среди ночи я одним махом сбросил с себя одеяло и решительно поднялся. Сначала сам еще не знал, чем буду заниматься. И только когда присел к столу, понял: буду бумагу марать.

Валентин спит без задних ног. У него полный порядок: знает человек, во имя чего живет, и знает, как надо жить. Мой негаданный соперник — счастливчик.

У меня где-то внутри давно ворошилась патетическия и поэтическая поэмка. В прозе, разумеется. О мальчишках и об одном капитане, морском волке.

Бумагу марать — не щи хлебать. Я писал и рвал, рвал и писал. Стихи, братец, надо уметь сочинять. Это не по тебе, меланхолик.

«Нас, мальчишек, было без малого девяносто, а то и все сто.

Все как на подбор — степняки. Смуглые, опаленные солнцем, выращенные на ржаном хлебе, еще не окуренные дымом солдатских костров и, конечно, абсолютно сухопутные, не видавшие никакого моря.

Все мы были безусые добровольцы, годков по семнадцати от роду. У всех были райкомовские путевки, хрустящие, новенькие, аккуратно сложенные в кармашке возле сердца.

Мы стояли неровным строем и дышали прямо в лицо дряхлому капитану. Когда-то в прошлом этот усатый, просоленный человек, несомненно, был опытным морским волком. А сейчас перед нами стоял кругленький старичок с круглой головой и полузакрытыми глазами. Настоящий домашний кот, притом очень усталый.

Он ходил перед строем, заложив руки за согнутую спину, хмуро поглядывал в наши безусые лица и бормотал что-то невнятное себе под нос.

Мы, степные ребята, выращенные на ржаном хлебе, не понравились ему. Но зачем обижаться на нас?

Разве мы виноваты в том, что все настоящие моряки давно на войне? Разве мы виноваты, что ему, старому коту, поручено перевезти через залив несколько тонн груза? Разве мы сами напросились к нему в матросы?

Десять раз он прошел перед строем и в каждый заход отбирал по одному человеку. Просто тыкал пальцем в грудь и заставлял сделать три шага вперед.

В новом маленьком строю я оказался третьим. Просто третьим с краю.

Морской кот теперь стоял перед нами, не замечая тех девяноста мальчишек, которые, по его мнению, не годились в моряки. Он просто перестал их видеть и слышать.

— Еще не бывало такого случая, чтобы я ошибся! — промычал он, гордый собою и нами.

Через час мы были на его корыте, старом и облезлом, как и он сам.

И целую неделю этот сердитый кот вышибал из нас запах ржаного хлеба и аромат ромашки. Мы теперь не мыли, а драили палубу, нас кормил не повар, а кок, и становились мы не на пост, а на вахту.

И наступило время, когда он повел утлое суденышко в бушующее море.

И, черт его возьми, мы хлебнули горя с этим усатым котом!

Суденышко то взмывало на гребни волн, то снова летело вниз, к чертовой матери. Море сразу невзлюбило нас, новичков, незасоленных степных ребят. Мы дрожали, как щенята. Где-то внутри рождалась тошнота, и мы, липовые морячки, то и дело бегали к борту. А морской кот стоял на своем мостике, хмуро и в

то же время весело поглядывая на нас. Он неумолимо вышибал из нас сухопутный страх, воспитывая морских волков. Волков из щенят.

И вот настало время, когда капитан дал команду мне и двум моим товарищам продвинуться на корму. Ему во время шторма, видишь ли, захотелось закрутить морские узлы и прикрыть груз брезентом. Те двое успели за что-то ухватиться, а на меня навалилась волна и мгновенно сбила с ног. Я даже не успел крикнуть. Только чудом уцепился за борт.

После такого несчастья человеку надо дать опомниться. Или просто прийти в себя. Но капитан был неумолим. Он опять приказал идти на корму. Скользкая палуба была ненадежной опорой, я не мог шагу ступить. Волна за волной обрушивались на наше утлое корыто. Мне хотелось плакать, как младенцу, и читать молитвы, которых я не знал и знать не хотел.

Три раза я пытался продвинуться на корму и три раза падал плашмя, пролетая через всю палубу и цепляясь за что попало, чтобы не очутиться на дне залива.

А этот морской волк не давал никакой пощады, он рычал и грозил кулаком мне, ветру, волнам, всему белому свету.

Страх сковал меня, и не было на свете такой силы, которая бы смогла оторвать меня от борта.

Когда судно взметнулось на гребень большой волны, морской волк ловко подлетел ко мне и в один миг окрутил канатами и привязал меня к борту. Глаза его светились огнем бешенства, и под кожей бегали желваки. Мне показалось, что я схожу с ума.

— Ты у меня полюбишь море! — говорил он, уже смеясь глазами и чуточку скулами.

Все ходило ходуном, море ревело, волны обрушивались на мое немощное тело. Я сто раз умирал и оживал сто раз.

И вся команда знала, что я наказан за трусость. Это знало и море. Оно, как добрый конь, скидывает слабого седока.

А потом, когда меня отвязали, я бегал вместе со всеми по палубе, и падал, и коченел на ветру. Но рядом со мной были товарищи, а на миру и смерть красна.

Не помню, как мы дошли до порта назначения, как брали груз и как возвращались. Было яростное море и беспощадный шторм.

И, наконец, мы причалили и стали разгружаться. Потом, когда мы исполнили свой первый морской долг, в едином порыве поднялись на берег и стали спиной к морю, к яростным волнам и белой пене, к шторму и смерти.

И снова перед нами появился старый капитан. Он выстроил нас и закричал, желая перекричать шум моря:

— Выше голову, мои мальчики! На вас смотрит Россия!

Мы, десять степных парней, засмеялись ему в лицо и сказали, возмущенно тараща глаза:

— Позади дикое море, а впереди — голое побережье. И одинокий домик, где светится огонек. И больше ничего.

— Выше голову, мои мальчики! — упрямо повторил старый волк. — На вас смотрит Россия!

И тут с нами что-то случилось, даже не сразу сообразили, что случилось. Будто впервые увидели мы усатого капитана, самих себя, этот голый берег с одиноким домиком и бушующее море.

И мы еще выше подняли свои головы и разом повернулись лицом к морю. И с тех пор никогда не отворачивались от него. Просто не позволили нам этого наши сердца»...

41

Наутро, как только очухался от сна, всерьез начал думать, как бы прочитать «Морского волка» своей Айбике. Даже подобающую к этому случаю речугу подготовил: бей, но выслушай.

Но сразу не побежишь в общежитие и не остановишь ее на людной улице. Нужно было поразмыслить, где встретиться, и между прочим, как встретиться.

По всем данным, она избегала меня. Сердечный порыв ее, по-видимому, прошел. Дескать, ей, недотроге, не чета какой-то там Хайдар Аюдаров! Куда уж мне совать свой нос в деловой график девчонки, занятой на все двести процентов работой да общественными делами!

До вечера я еще сомневался, но в шесть часов собственными глазами увидел ее: смеясь, она шла рядом с Валентином — не под ручку, конечно, а рядом — и оживленно о чем-то болтала. Ничего странного в этом нет, возможно, они шли на какой-нибудь актив или на собрание. Однако мне до крайности стало обидно. Могла бы она и мне разрешить проводить ее до места собрания. Я уже решил догнать их и сказать ей об этом при Валентине. Но гордость взяла верх. Прогуливаться втроем — да ни за что! Тут же на углу, возле телеграфа, я изорвал своего «Морского волка». Изорвал и кусочки развеял по ветру. Конечно, удовольствия это

мне особого не доставило. Даже жалко стало себя, дурака.

Когда меня преследует невезение, я делаюсь подозрительным. Может быть, ей, Айбике, дали общественное поручение перевоспитать меня? И в грозовую ту ночь в степи она только прикинулась моей невестой?

Чепуха, разумеется. Что за чертовщина лезет в голову! Такого общественного задания не было и не могло быть. Просто в ту ночь в Айбике заговорило благородство. Пожалела меня немножко? Или в самом деле проснулась какая-то симпатия? С ними, с девчонками, и такое может случиться, в чем они потом сами себе не могут дать отчета.

Одним словом, обворожила и отступилась. А разве это честно?

Ну что же, ему, Валентину, удача, а тебе, Хайдарчик, от ворот поворот. Забвение по штатному расписанию. Сам понимать должен.

42

Порою меня охватывает сладкая грусть. В такие минуты мне хочется прижаться к кирпичной стене цеха и прошептать: «Вот так, старина, нынче мы с тобою потихоньку уходим в историю».

Ты, стена, была такая важная. Про тебя говорили не иначе как про объект решающего значения. Я помню те дни. Выли тяжелые самосвалы, грохотали землеройки, стоном стонала земля, а ты день за днем росла все выше и выше.

Потом подвели тебя под крышу, и люди забыли думать о тебе...

Но я не прижимаюсь к стене, еще увидит кто-нибудь, черт знает что подумает. Обязательно решит, что я спятил.

С грустью я разглядываю корпуса и башни, арки и пролеты... Везде приметы былой борьбы: «Карбамид — это хлеб», «Карбамид — это молоко». Кто-то даже догадался начертить: «Карбамид — это пиво!» Шутник, как видно, тоже работал на историю.

Плакаты отслужили свое и, как немые свидетели отгремевших порывов, будут мокнуть под поздними осенними дождями и мерзнуть под первым ледяным ветром...

Я подхожу к пожелтевшим полоскам рукописной стенной газеты «Даешь карбамид!». В первом номере возвещается: «До открытия областной партийной конференции осталось восемнадцать дней...» А в последующих номерах: осталось семнадцать дней, шестнадцать, пятнадцать... Штаб городского комитета партии каждый день выпускал очередной номер, даже в воскресенье. И эта газета, как ни грустно, тоже уже история...

Жизнь идет своим чередом, в ней есть и праздники и будни. Рядом с красочной газетой висит серенькое объявление: ровно в семнадцать ноль-ноль назначено заседание суда чести.

После смены я не бегу к трамвайной остановке, как раньше, а сворачиваю в красный уголок. Теперь меня касается все, что связано с нашим цехом, с моими товарищами.

Зал в красном уголке битком набит. Только одна скамейка, самая последняя, почти пуста. На ней никого, кроме Барабана и Лиры Адольфовны. Очевидно, никто не хочет сидеть рядом с ними. С тех пор как погиб Доминчес, весь цех, не сговариваясь, устроил им

что-то вроде бойкота. Это, конечно, страшно, когда люди не заговаривают с тобой, не приветствуют обычным «здравствуй», даже спички у тебя не попросят, чтобы закурить...

Я подумал: «Не жестоко ли мы их казним?»

Сказав это себе, я присел на их скамейку, с краешка, хотя для одного человека в любом ряду нашлось бы местечко, потеснились бы...

Но мое маленькое сострадание осталось незамеченным, так как в это время к столу президиума чинно вышли Задняя Улица, Прохор Прохорович и Нагима. Ничего не скажешь, судей подобрали что надо.

Не успел я перекинуться двумя словами с девушками, которые сидели впереди меня, как почувствовал, что кто-то меня толкает, смотрю — Пискаревский.

— Что тебе?

Подмигивает и кивает головой. Дескать, выдь на минутку, переговорить надо.

Я делаю вид, что не понимаю.

— На пару слов, — шепчет он.

— Успеется...

А ему невтерпеж; склонив голову, продолжает торопливо:

— Понимаешь, какой конфуз получился... Моя родительница форменным образом ошалела, нажаловалась соседям, а те сдуру кинулись на комбинат.

Выпрямился и ждет, что я скажу. Дипломатия его шита белыми нитками. Хитрость на дурачка рассчитана. Он рассуждает так: за издевательство над матерью головы с него не снимут. Ну, отругают и отпустят с миром. Потребуют, конечно, выпрямления моральной линии и возьмут обязательство... А вот если докопаются до попоек с иностранцами, до «художествен-

ной самодеятельности», какую он там организовал, то легким испугом не отделаться. И это он знает хорошо.

Я понял: перестраховать себя хочет, в этом все дело. Разумеется, не тороплюсь его успокоить. С той самой последней встречи глядеть на него омерзительно.

Судьи объявили об открытии судебного заседания. Пискаревский засуетился.

— Ты не станешь трепаться?

Смотрит на меня в упор, а на губах заискивающая улыбка.

— О чем это ты? — спрашиваю его с самым невинным видом.

— Прикидываешься?

Хотелось крикнуть: «Замолчи, сволочь!» — но сдержался. Отвернулся демонстративно.

В эту минуту судьи предложили Пискаревскому сесть на переднюю скамейку.

Ко мне подсел Катук. Покровительственно усмехнувшись, загнусавил вполголоса:

— И сказала Далила Самсону: все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь; скажи мне, чем бы связать тебя?

Девушки на соседней скамейке прыснули. Валентин, сидевший неподалеку, сухо одернул:

— Никаких фокусов, понятно? Суд начинается.

Укоризненно покосились в нашу сторону Карим и Салим; кстати, теперь выяснилось: они сообща собирали деньги не на мотоцикл, как я когда-то думал, а на свадьбу... Один из них собирался жениться.

Я сижу и мысленно проклинаю Пискаревского. Как мне поступить? Разоблачить его перед судом чести? Или махнуть рукой на эту грязную историю? Однажды Амантаев, к примеру, сказал: «Хороший закон издал старик Солон — он потребовал, чтобы во время

гражданской смуты каждый человек примкнул к одному из лагерей: среди граждан не должно быть трусов и равнодушных».

Любопытно, как бы старик Солон поступил в моем положении? Наверное, не раз почесал бы себе затылок.

— Гражданин Пискаревский, признаете ли себя виновным в издевательстве над гражданкой Пискаревской, которая приходится вам родной матерью?

Пискаревский начинает изворачиваться. Юлит. Более омерзительной картины я еще не наблюдал.

Первым не выдержал наш комсорг.

— Мы ли не знаем Пискаревского? — спросил Валентин дрогнувшим голосом. — Знаем его как свои пять пальцев. Только на моей памяти у него пять прогулов. И каждый раз он представлял фиктивные справки. Работает кое-как, лентяй отъявленный. Уровень своего образования повышать не желает. А от общественной работы бежит, как черт от ладана. Аморальный человек, пижон, лоботряс.

— Неправда! — крикнул с места Пискаревский. — Недопустимо так безответственно клеветать на человека и возводить на него небылицы!

— Что неправда? — Валентин резко повернулся в его сторону. — Скажи, в чем я солгал?

Пискаревский отчаянно отбивался. Весь цех восстал против него. Слово взяла тетя Саша. И вот в это время суют мне записочку. Разворачиваю и читаю: «Помни уговор. Если заикнешься, пеняй на себя». Это от него, Пискаревского. Вероятно, написал еще дома, принес про запас.

Вы не можете себе представить, как эта записочка взбесила меня. Еще смеет пугать! Я вообще не переношу угроз, а уж от Пискаревского... В ярости я сжал кулаки.

Если бы не эта записочка, я, может быть, и промолчал бы. Оратор я никудышный. Но тут меня просто взорвало. Пугать вздумал!

Несколько раз я порывался просить слова, но моей поднятой руки не замечали. То один оратор вставал, то другой.

— Дадите, наконец, мне слово? — крикнул я, поднимаясь во весь рост.

Стою и жду. Не привыкло цеховое общество к моим выступлениям на собраниях. Не успел я открыть рот, как дядя Прохор поглядел на меня из-под своих очков и сказал сердито:

— Стоит ли слушать Аюдарова, товарищи? Он сам якшается с Пискаревским.

С какой-то стороны он прав. Если не якшаюсь, то якшался. Какой же я судья Пискаревскому?

Но сейчас я не мог пойти на попятную.

— Хотите слушать или нет, а я выскажусь! — крикнул я.

И закусил удила. Промчался единым духом по всем шабашным проделкам Пискаревского. Как только я сообщил обществу, что Пискаревский подговаривал меня за стопку водки свести с иностранцами нашу Нагимочку, настала такая тишина, что стало слышно, как у моего соседа громко тикают ручные часы.

Скрыл я только то, что Пискаревский в записке грозится мне увечьем или смертоубийством. Ну его к дьяволу! Хватит и того, что рассказано.

— Сознавайся чистосердечно, Пискаревский, —

сказал я в заключение, — послушай моего доброго совета.

Он не ждал от меня такого подвоха, я сбил с него спесь.

— Неправда! — простонал он наконец.

— Что неправда?

— Многое присочинил.

— Что именно?

Главный судья, вспомнив о своих обязанностях, прервал наш спор.

— Садись, Аюдаров,— приказал он.— Вопросы задавать буду я. Ну, кто еще выскажется по делу Пискаревского?

Кто-то обозвал Пискаревского подонком, кто-то высказал мнение, что за такое нужно судить народным судом.

— Да что же это происходит? — внезапно заговорила Нагима. — Все гуртом навалились на одного человека, разве это дело? Просто он дурачок и болтает глупости. Может, родная мать, когда он несмышленым был, не научила его быть добрым...

Весь зал ахнул, никто не ожидал этого от Нагимочки. Вот тебе и судья! А я понял: материнское чувство восторжествовало в ней над гражданским.

— Если бы что-нибудь подобное случилось на фронте, я собственной рукой пристрелил бы негодяя, — коротко и сурово сказал бывший танкист Прохор Прохорович.

Без малого три часа обсуждали мы дело Пискаревского.

— Самое легкое — наказывать, а вот воспитывать куда труднее, — сказал в заключение Амантаев. — Давайте послушаем его самого: неужели ему нечего сказать нам, своим товарищам?

Ну и суд, я вам доложу! Гнилой либерализм, и только...

Все время, пока шел суд, я украдкой поглядывал направо, где возле двери сидели Барабан и Лира Адольфовна, притихшие и будто чужие друг другу. И мне казалось, что перед их глазами стоит нетускнеющий образ Доминчеса. Стоит и укоряет.

43

Операторскую мы приспособили под столовку местного значения. За длинным столом можно закусить, а заодно сыграть в домино или шахматы.

Я предпочитаю шахматы, хотя не созрел и для третьеразрядника. Все-таки игра интеллектуальная. А домино придумали умалишенные. Много треска и никакого смысла, одни приговорки чего стоят: «Держи хвост!»

Однажды, дня через три после суда над Пискаревским, сидели мы в операторской: я и Валентин — за шахматами, а Барабан, Катук, Карим и Салим — за домино.

И неожиданно появился Амантаев, поздоровался, присел с краю и как-то легко и незаметно вовлек нас в разговор. Пока он говорил, я до мельчайших подробностей припоминал его первую беседу с нами о коммунистических бригадах. Тогда я, помнится, при всем честном народе выступил в роли скептика. А сегодня никакого зуда к спору не ощутил. Сижу и пытаюсь подметить в нашем цеховом коллективе что-нибудь отрадное, способное вдохновить. И самое, пожалуй, примечательное, что мне это удается без труда.

Взять любого из наших парней или девчат: у каждого наравне с очевидными недостатками есть светлая

живинка, искорка, которую при желании можно здорово раздуть. Поэтому я не лезу сегодня на рожон, как в прошлый раз.

Очевидно, и другие чувствовали так.

— Ком-мунисти-ческая! Слово-то какое! — сказала наша Нагимочка. — Если бы все мы были без пятнышка, то зачем создавать коммунистические бригады? Правда же! И все-таки, когда задумаешься, за какое высокое звание борешься, боязно становится...

Барабан молчал. С ним творилось что-то неладное. К нему у меня теперь двойственное чувство: не могу простить ему смерть Доминчеса и в то же время тайно восхищаюсь им как рабочим. Слесарит, как будто академик какой. Магический у него ключ.

— Не боги, как известно, горшки обжигают, — произнес Прохор Прохорович. — Но меня все же сомнение берет: успеем ли мы за двадцать лет, как то предусматривает проект новой Программы партии, в корне переделать свой характер? Вот я, допустим, жадюга или клеветник и жить мне еще лет сорок. Поспею ли я за половину этого срока управиться с собой даже при наличии материальной базы коммунизма?

Потом говорили Катук, Амантаев; я их просто не слушал. Я думал: говорим о человеческой красоте, о совершенстве, а сами... частенько сдерживаем свои лучшие чувства и побуждения. Даем волю сомнениям, подозрениям. Нет чтобы самому пойти к Айбикс и сказать честно: виноват, прости...

Какой толк от того, что я дуюсь на Айбику? Она имела право спросить о Нимфочке и даже рассердиться. Ведь какие у нее рассуждения? Она не желает дружить с человеком, который припрятал еще одну девчонку про запас. Я так это себе представляю.

Вернувшись в общежитие, я стал торопливо бриться.

Валентин отсутствовал. Садык, растянувшись на койке, с аппетитом уплетал булку и следил за тем, как я прихорашиваюсь. Его не обманешь, он понимает, что у меня свидание.

— Послушай-ка, — вдруг выпалил он. — Дружбу ищут или ждут?

— А как сам думаешь?

— Видишь ли, какое дело, мне сунули билет на диспут «Каким должен быть настоящий друг». На обратной стороне билета как раз этот вопросик имеется...

— Сходи на диспут, выяснишь этот вопросик.

— Придется пойти. Посоветуй, как отвечать еще на такой вопросик: возможна ли любовь с первого взгляда?

— Не знаю.

— Ты не хочешь пойти со мной?

— Неотложное дело. Тороплюсь.

Хорошо, что он не увязался за мною. Могло и это случиться.

Первым делом я метнулся в девчачье общежитие. Подружки не могли сказать, куда запропастилась Айбика. В самом деле не знают или делают вид? При всем этом девчонки не особенно-то дружелюбно разглядывали меня. Тут что-то неладно.

— Выходит, что никто не знает, куда ушла Айбика?

— Выходит, что так...

Я решил: пойду-ка в тридцать седьмой квартал; однажды Айбика говорила, что работает там общественной вожатой.

Торопился и поэтому направился прямо через двор, держа курс на мальчишку, стоящего посередине квар-

тала: расспросить, где их штаб и не видел ли он вожатой.

Да не тут-то было. Мальчик, как только увидел меня, побежал навстречу и крикнул изо всех сил:

— Дяденька, стой!

А я иду. Тороплюсь, естественно.

— Здравствуй, мальчишка, — сказал я, приблизившись к нему.

— Я не мальчишка.

— Кто же ты?

— Я неподкупный. Слежу за соблюдением правил уличного движения и отвечаю за свой квартал.

Пока мы объяснились, к месту происшествия подбежала девчонка с зеленой повязкой на левой руке.

—Ты тоже неподкупная? — спросил я, стремясь завоевать ее расположение.

Она кивнула головой, однако взглянула строго.

— За то, что шли по газонам, мы вас задерживаем, — проговорила она.

— Что же мне делать? — спросил я, раздумывая, как бы поскорей отвязаться от неподкупных стражей порядка. — Каюсь в том, что пошел по газону и нарушил правила движения. И плакат теперь вижу: «У нас по газонам не ходят!» Но я думал, какие же могут быть газоны в такую глубокую осень... Простите.

— Прощать никак не можем, — отрубил мальчишка. — Придется вам следовать за нами в штаб. У нас такой железный порядок.

Вот те на! Не думал, что придется идти на свидание под конвоем.

— Послушайте, неподкупные: может, отпустите с миром? Или дайте лопату, малость поработаю? — взмолился я.

Лучше, разумеется, затушить инцидент в самом начале, чем попасться на глаза Айбике. Засмеет.

— Мы ничего сделать не можем, — упорно стояли они на своем.

Если попытаться сбежать, они, чего доброго, на весь квартал шум поднимут. Следовательно, надо подчиниться.

В подвальном этаже, в двух комнатах, освещенных большими — по сто пятьдесят свечей — лампами, располагался их штаб.

Как только вошли:

— Дяденька нарушил порядок, шел по газону, — доложил мальчик, будто рапортуя о победе.

Девчонка с длинными косичками, темноглазая и смуглая, повернулась ко мне вежливо, но с достоинством и проговорила:

— Садитесь, пожалуйста. Я проведу среди вас воспитательную работу. — И, не переводя дух, пояснила: — Мы назвали себя салаватиками в честь Салавата Юлаева. Мы дали себе слово научиться у взрослых, как нам сделаться лучше...

Наверное, в этот штаб не часто попадают люди под конвоем... Ребятишки здорово обрадовались: наконец-то они смогут кого-нибудь перевоспитать! Девчонки, перебивая друг друга, начали рассказывать про отряд «Зеленого кушака», шефствующий над всеми деревьями и цветами, и про отряд «Театр площадей», который время от времени обслуживает концертными выступлениями все площади города...

«Пора смыться, пока не пришла Айбика», — подумал я, ища предлога к тому, чтобы без шума распрощаться с неподкупными.

— Ну, я пошел, — проговорил я, вставая. — Спаси-

бо за все, что рассказали. Теперь я на всю жизнь запомню — по газонам ходить нельзя.

— Мы вам еще не рассказали про нашу клятву...

В этой клятве салаватиков, как я тут же узнал, сказано, что они будут сурово и постоянно бороться с бездельем, хулиганством, воровством, сплетнями, карьеризмом, грубостью, со всем, что загрязняет человеческие души и портит жизнь.

— Ведь и взрослые, чтобы они могли стать настоящими членами бригад коммунистического труда, тоже с этим борются, — сказала смуглянка, заканчивая свое воспитательное мероприятие.

И тут я поймал себя на мысли: «Все это выдумка Айбики. И девчонки здорово подражают своей вожатой, когда «воспитывают».

Комок подкатил к моему горлу, сам не знаю почему. Может, потому, что я позавидовал этим неподкупным?

— Вы мне здорово понравились, — вынужден был я заявить им. — В честь нашего знакомства я вам тоже кое-что расскажу. Например, о пионерском знамени. Конечно, я сейчас не пионер, но я им был. Хотите послушать?

«Здравствуй, знамя!

Давай представим себе, что мы совсем наедине. И я скажу тебе то, что только наедине и говорится.

Я склоняю голову перед тобою, пионерское знамя. Я становлюсь на колени и с чистой совестью тебя целую.

Возле тебя я всегда чувствую себя счастливым.

Ты, пионерское знамя, яркое, зовущее, стало символом чистоты наших помыслов. Твое место — в голубом просторе, там, где так много воздуха, солнечно-

го света, и самое главное — полным-полно ветра. Тебе же вовсе не весело, это я знаю, если не веет ветер, если не носится вокруг тебя вихрь, если не бушует ураган.

Ведь знамя рождено для бурь!

Взвейся выше! Оттуда, с высоты, тебе хорошо будут видны наши лица, наши глаза, наше дерзновение, наши успехи и наши ошибки.

И нам, живущим под знаменем, ничего не страшно. Вот почему мы так крепко держим твое древко и так высоко возносим тебя.

По тому, будешь ли ты улыбаться или хмуриться, по тому, будешь ли весело шептаться с ветром или извиваться под злыми порывами бури, мы поймем, что нам нужно делать: мы знаем твой язык, знамя.

Вейся! Вейся! Вейся!

И нам, вышедшим на дорогу больших дел, пожелай счастья. Скажи: пусть сопутствует нам счастье!

Спасибо тебе, знамя».

...Девчонки сидели, точно завороженные, я сам не ожидал такого успеха. Значит, был в ударе.

Тут несмело подошла ко мне смуглянка с косичками и неожиданно сказала:

— Мы с девчонками сошьем знамя, которое ищет бури.

И вдруг в ее больших зрачках я увидел — клянусь, что увидел! — отражение Айбики. Она только-только вошла и остановилась за моей спиной. Я сделал вид, что ничего не заметил.

— Ладно, так и быть, — сказал я, — расскажу еще одну поэму.

«...В том городе, где я родился и рос, жила-была красивая вожатая. Ведь в каждом городе есть свои прекрасные вожаки, это известно всем.

Та вожатая была нашим другом и товарищем, сестрою и судьею. Мы гордились ею и восхищались.

Она пела для нас прекрасные песни.

И она знала, не могла не знать, что все мы, мальчишки и девчонки, без ума от нее. И, пожалуй, она чувствовала, не могла этого не чувствовать, что без нее нам грустно. Почти тоскливо.

И вот однажды она пришла к нам не одна. Ее спутник был в форме летчика: голубое с золотом. Цвет неба и солнца!

Летчик терпеливо ждал, когда она допоет свои песни. И тогда увел ее. Каждый раз он уводил ее куда хотел, и она прощалась с нами, счастливо смеясь.

Мы, конечно, мучились и горевали. Мы никому не хотели отдавать нашу вожатую, даже летчику.

Мы стали носить ей самые красивые цветы, какие росли в нашем городе. Пели ее любимые песни. Мы души свои готовы были ей отдать.

И нам хотелось стать лучше того летчика. И лучше всех летчиков мира заодно.

Мы еще не знали тогда, что летчики пленяют девушек. Пленяют и уводят в свое голубое небо. К солнечному свету, поближе к звездам.

Мы сильно загрустили, когда это случилось. А случилось такое, несмотря на то, что мы носили самые красивые цветы. И пели ее любимые песни.

Я помню, слезы были соленые. Они оказались горячими. Первыми такими».

Все это, конечно, я наговорил ради Айбики, ради нее одной. Ведь я знал, что она стоит за моей спиной и слушает меня.

Я неожиданно оглянулся. На ресницах Айбики висели слезы; пытаясь овладеть собой, она улыбну-

лась и протянула мне руку. А за нею стоял Валентин. Если бы я только знал, что он тут, разумеется, ни за что бы не выкинул такой номер. Подумать, какой декламатор объявился!

— Пока я поговорю с ребятами о наших планах на следующую неделю, вы прогуляйтесь, — приказала нам Айбика и быстро выпроводила из штаба.

Мы вышли во двор и молча закурили. Стоим и дымим. И не о чем нам болтать. Надоели мы друг другу, не говоря о том, что он встал поперек моего пути, а я — поперек его пути.

Первым спохватился Валентин. Желая как-то выпутаться из неловкого положения, он доложил:

— У меня на тумбочке лежит журнал «Стрекоза», лет сто назад издавался. Случайно попал в руки.

— Ну и что?

— Тогдашних бюрократов здорово чешут... Каждой канцелярии, пишут, полагается один чиновник для обобщения, один для умозаключения, один для двигания бумаг вперед и один для двигания назад, один для вопросов, один для ответов и один для справки о том, мы ли пишем или нам пишут...

Я слушал его и ловил себя на мысли: он же безумно любит Айбику! Это как пить дать!

44

Я пригласил Айбику на вечер. Оказывается, Валентин успел это сделать днем раньше. «Нерасторопен ты, братец! — отчитал я сам себя. — Обходят тебя по всем статьям».

Явились мы втроем, но не к самому началу вечера. Айбика решила показаться в новом платье. Ну, мы,

как и полагается настоящим соперникам, сопровождали ее к портнихе и обратно. Одним словом, опоздали к началу.

Я-то не особенно волновался. Мне что... Я не комсорг, поэтому не обязан с самого начала до конца быть заводилой, ответственным, так сказать, лицом за развлечение. Валентин всю дорогу торопил Айбику и сердился не на шутку.

Появление Айбики, как я и полагал, произвело настоящий фурор. Все, особенно наши девушки, вытаращили глаза, увидев в нашем обществе такую раскрасавицу.

Первым делом мы повели Айбику в буфет — от угощения ни одна барышня никогда не отказывается, этот ритуал предопределен свыше. Валентин угостил шоколадом, я — пивом.

На концерте мы сидели втроем. Цеховые девчонки уже заметили, что мы с Валентином соперничаем на правах свободной конкуренции, и втихомолку посмеивались над нашими постными физиономиями. Девчонки, известное дело, дошлый народ. У них особый нюх на всякие такие вещи.

Во время танцев Айбика отличилась: ей надоели бальные танцы и захотелось сплясать.

— Пойди, Хайдар, попроси баяниста сыграть что-нибудь повеселее.

— Ты с ума сошла?

По правде говоря, я не знал, что она умеет выставлять напоказ свои капризы.

— Не хочешь исполнить мое самое маленькое желание? — как-то строптиво спросила она меня. — Хорошо же... — И, повернувшись к моему сопернику, добавила: — Валя, ты умеешь плясать?

— Разумеется.

Она малость опьянела, конечно. С непривычки пиво ударило ей в голову.

По знаку Валентина баянист моментально переключился на пляску. Наш комсорг, не мешкая, вышел в круг и, как заведенный, начал то приседать, то откидывать руки.

— Вот это парень! — восхищенно воскликнула Айбика.

— А что ж тут хорошего? — спросил я наигранно равнодушным голосом.

— Послушался. Значит, крепко уважает.

Я рассмеялся. Подумать только, послушание — высшая мужская добродетель!

— Ты это всерьез? — воскликнул я.

— Перестань, пожалуйста, — надулась Айбика, сразу потеряв всякий интерес к пляске. — Ничего ты не понимаешь. Уйдем отсюда. Знаешь, мне вдруг наскучило у вас. Пошли домой.

Этот ее каприз, как вы понимаете, пришелся мне по душе.

Сегодня воскресенье. Взглянул в окно — непогода. С неба падают веселые пушинки.

— Опять снег.

Снова влезаю под теплое одеяло, в выходные дни по уставу положено нежиться.

— Ты что? — оборачивается Валентин. — Забыл, что вылазка?

— В такой снег вряд ли кто рискнет пойти.

— Испугался? — он смотрит на меня, сладко зевая. Тоже не выспался.

— На законном основании можно отменить лыжную вылазку.

— Пока мы соберемся, погода непременно разгуляется. Вот увидишь.

Я торгуюсь только для виду... На лыжную вылазку идем всем цехом. Кроме старичков, разумеется, и тех, кто на вахте.

Я бы, пожалуй, не пошел, если бы вчера Айбика не проговорилась, что ужасно любит лыжные прогулки. Оставалось одно: пригласить ее, что я и сделал.

Валентин бреется у подоконника, я — перед большим зеркалом. Едва я погладил брюки, как и ему утюг понадобился. Одним словом, оба наводим лоск.

Садык только посмеивается:

— Не на свадьбу ли собираетесь?

Мы оба делаем вид, что не слышим.

Собрались по уговору возле трамвайного парка. Это на южной окраине города. Ровно в одиннадцать ноль-ноль. Человек двадцать было налицо. Тут и наши девушки во главе с Зиночкой, Карим и Салим, несколько операторов из других смен и мы с Валентином.

Вскоре подоспела Айбика.

— Не опоздала? — спросила она, останавливаясь между мною и Валентином.

К ее белому свитеру очень шли красная шерстяная шапочка и бордовая юбка.

Другие девушки были в брючках, они у нас не таковские, чтобы отставать от моды.

Айбика не особенно резво ходит на лыжах. Поэтому мы трое плетемся в хвосте.

— Иди, догоняй своих, — то и дело предлагаю я Валентину. — Ты — вожак молодежи, без тебя они пропадут, а нам с Айбикой можно отстать, мы люди скромные.

— Успеется, — улыбается он. — Мы еще нагоним их, верно, Айбика?

— Вряд ли, — вздыхает Айбика. — Совсем я отвыкла ходить.

В степи ветер усиливается. Становится холоднее.

— Айбика, руки не зябнут?

— Пока нет.

И тут мы видим двух лыжников, спускающихся с гор. Они идут параллельным курсом.

— Наши? — спрашивает Айбика, приостанавливаясь.

— Нет, не наши, — отвечает Валентин, разглядев лыжников. — По-моему, Седов идет, а с ним второй секретарь горкома. Первый — в Москве. Сдает госэкзамены в академии.

— Разве он молодой? — спрашиваю я.

— Под пятьдесят, не меньше.

— Шутишь?

— Почему же? Учиться никогда не поздно.

— Так я и думал, что сейчас щегольнешь прописной истиной.

Нас перебивает Айбика.

— Перестаньте задираться, — просит она. — Немножко передохнем, ладно?

— Это можно.

Снег заволакивает от нас раздолье степи, но я знаю — где-то на востоке лежит гряда гор.

После получасового отдыха проходим от силы километра два, и тут Айбика признается:

— Я больше шагу не могу сделать. Я вернусь, ребята. Идите одни.

— Слушай, Валентин, — говорю я настойчиво. — Иди же, догоняй ребят, а я как-нибудь доведу ее до дому.

— Успеется, — возражает Валентин.

— Смотри, лыжню занесет...

— Не занесет...

Мы поворачиваем обратно. Валентин поддерживает Айбику слева, я — справа. Должен признаться: ничего хорошего нет в том, что идешь втроем. Даже не поговоришь как следует с девчонкой, не объясняться же при третьем лишнем! То же самое, наверное, думал и Валентин.

Уже недалеко от города Айбика совсем отказалась идти.

— Я сяду.

— Ну-ка, снимай лыжи, — скомандовал Валентин. — Живее!

Он снял и свои. Не успел я о чем-либо подумать, как он скомандовал:

— Обними меня. Да смелей, смелей!

— Есть обнять! — бодро отозвалась Айбика.

Конечно, она подчеркивала, что все это самая обыкновенная шутка. Но я не мог смотреть на их трогательную идиллию. Я потерял голову, взял стремительный старт и помчался вперед.

Только пробежав километр, а то и больше, я одумался. Можно ли бросать девчонку в беде? Конечно, не дело.

И я вернулся к ним.

— Разведал дорогу, — сказал скороговоркой, чтобы как-нибудь оправдать свое бегство. — До самого железнодорожного полотна — глубокий снег.

Они сделали вид, что поверили мне.

— Теперь я сменю тебя, Валентин, — проговорил я и снял руку Айбики с плеч Валентина. — Давай мне и ее лыжи.

— Спасибо тебе, Валя, — сказала Айбика, повора-

чивая голову в красной шапочке к моему сопернику. — Догоняй своих. Тебе нельзя оставаться с нами.

Валентин бешено умчался в белую степь, а мы двинулись в сторону города. Айбика повисла на мне, она шагу не могла сделать без стона.

Поэтому я часто опускал ее на снег и сам садился рядом.

Со стороны дороги или летчику с вертолета, который в это время пролетел над нами, наверное, казалось: два ребенка сидят смирненько на белом снегу.

А эти дети, между прочим, вели такой разговор, от которого можно было просто ахнуть.

— Думал ли ты, что такое прекрасное? — спрашивала меня Айбика. — Что ты знаешь о нем? Для меня прекрасное — это след человека на земле. След его ботинка в степи, — наверное, здесь прошел земледелец или геолог. След руки художника на полотне. След пера на бумаге. Красив мост, построенный инженером, космический корабль... Красиво все, что мы дарим людям.

Я нес Айбику на руках, крепко прижав к груди и уткнувшись носом в ее теплый свитер. А потом, усталые и счастливые, мы снова садились на снег, и снова она говорила о чем-то возвышенном.

45

— Ты уже собрался? — спросил меня Катук, как только сменились. — Пошли поживее.

Я помахал ему рукой.

— Нам сегодня не по пути.

— Неужели домой не идешь?

— Задерживаюсь.

— Для собрания как будто поздновато. Для совещаний — тоже. Остается предположить...

— Вот именно!

Катук смерил меня взглядом, подмигнул загадочно и пошел себе, посвистывая. Ему-то, конечно, стоит спешить. Жена не балует его, это известно всему кварталу.

Майя Владимировна попросила меня зайти за нею сразу же после смены. Вероятно, задержалась на работе и хочет, чтобы я проводил ее до дома.

В операторской, как истый кавалер, я подал Майе Владимировне пальто. Когда мы попрощались с дежурным диспетчером, собираясь идти, вошел плотный человек в черном пальто и пыжиковой шапке; держал он себя уверенно, как дома.

— Здравствуйте, товарищ Саратова, — громко сказал он, протягивая ей большую руку.

— Здравствуйте, товарищ Юрюзанский. Почему вы без противогаза?

— Я заглянул всего на одну минутку. Неужели у вас такие строгости?

— Хайдар, подай, пожалуйста, товарищу Юрюзанскому противогаз.

На полке лежало несколько противогазов, и один из них я протянул секретарю горкома.

— Один древний поэт воспевал в красивых женщинах только нежность и красоту, но никогда — суровость...

Майя Владимировна улыбнулась.

— По-видимому, когда жил этот древний поэт, женщины не работали химиками.

— В принципе мне нравится строгость, — как-то серьезно сказал Юрюзанский. И добавил: — Вижу, вы уже готовы. По существу, я зашел за вами, чтобы ска-

зать — машина подана. Седов остался в машине, а я вот зашел, чтобы... чтобы получить строгое предупреждение за нарушение правил техники безопасности.

— Но я не одна, со мной товарищ, — ответила Майя Владимировна.

Юрюзанский повернулся ко мне.

— Что ж, и для вашего товарища место найдется.

Шофер встретил секретаря не особенно приветливо. Открывая дверцу, он сердито пробормотал:

— Давным-давно спать пора.

— Кому? — спросил Юрюзанский, пропуская меня и Саратову на заднее сиденье.

— Всем. Всем без исключения.

Я заметил, что старый шофер как-то по-отечески заботится о Юрюзанском: кто-кто, а он-то знал, что у секретаря, может, повышенное давление или слабое сердце.

Как только машина тронулась, Юрюзанский как будто забыл и обо мне и о Саратовой.

— Как московский консультант оценил ваши труды? — спросил он, наклонясь вперед, к Седову. Видимо, они продолжали прерванную беседу.

— Разговор с ним всегда требует больших усилий.

— Не верит?

— Нет... Забавный он какой-то. И студентом такой же был. Мы вместе кончали институт. Он мне говорит: мое официальное положение, положение консультанта, исключает всякую попытку повлиять на чьи-либо убеждения. Я — буква закона. Все, что я сейчас буду говорить, выходит за пределы моих полномочий. И мне, как своему давнему однокашнику, он подал совет. Прежде всего заверил, что комбинат на отличном счету и в Москве и в Башкирии. И зачем тебе нужно взваливать на свои плечи новые заботы? — спросил он. —

Спокойно сиди в кабинете и получай положенные премиальные. И ты будешь удовлетворен, и рабочие будут довольны. Какой тебе смысл лишать несколько тысяч рабочих возможности получать прогрессивку? А твои проекты, хочешь ты этого или нет, лишат вас премиальных.

— И это все?

— Нет. Еще он напомнил, что мне уже под шестьдесят. «Люди рискуют в начале карьеры, а не в ее конце... Перенатрудишься, сорвешься и полетишь в тартарары. Выбросят и забудут». Вот что соизволил напомнить мне консультант.

— Вы, конечно, за ответом в карман не полезли?

— Конечно...

Помолчали. Шофер ехал осторожно, хотя в это время суток движение на улицах небольшое.

— А какие доводы приводит он против проекта?

— Говорит, что в этой области у нас нет опыта, а у иностранцев есть. Это во-первых. Зачем заново открывать открытое? Это во-вторых. Отсюда вывод: подбросить золотишка голландцам или итальянцам, и цех сам собой построится.

— Ваш ответ?

— Золотишко сбережем, справимся сами.

— Все это хорошо, однако необходимо как следует обосновать. Ведь я обязан доложить секретарю обкома. Сегодня же поставлю его в известность. Выкладывайте свои доводы. Итак...

— Я верю в творческие возможности комбината. Пока нам удавалось успешно решать подобные технические задачи.

— Я это знаю.

— Если уж на то пошло, у нас отличные инженеры. Например Циолковский.

— Случайно он не родственник тому... отцу русской ракеты?

— Нет. Но свою фамилию оправдывает. Золотая голова. В одном лице и химик, и конструктор, и поэт.

— Даже поэт?

— Без поэзии химия не химия.

— Итак, наш Циолковский...

— Наш Каримов, наш Бикчурин, наш Гохберг...

— И, пожалуй, Сызранкин.

— Разумеется... Во время разговора с Уфой необходимо подчеркнуть: на готовой базе новый цех построим за два года вместо четырех и в два раза дешевле. Проект выполним сами.

— Итак, по рукам?

— По рукам.

Разговор перекинулся на сливочное масло — в магазинах, особенно по вечерам, появились очереди.

— Проблема решится дней через пять, — заверил Юрюзанский.

— А с детскими садами? — вдруг подала голос Майя Владимировна. — Помнится, о них и на активе поднимали вопрос.

— Беда с нашими женщинами, — усмехнулся Седов. — Наш город по рождаемости на первом месте в Российской Федерации. Надо признать, строители не поспевают за жизнью.

Люди в машине прикидывали, можно ли построить пять детских садов за счет внутренних резервов комбината. Да еще выяснилось, что город нуждается в филиале института, что торговым организациям нужен холодильник. И еще много о чем говорили они, пока машина медленно шла по улицам спящего города.

Они довезли нас до самого дома. Когда пришла по-

ра прощаться, Юрюзанский как будто вспомнил и о нас.

— Не понимаю я вашего Амантаева, — неожиданно заявил он.

— Что вас в нем смущает? — спросил Седов, протирая запотевшие стекла очков.

— Вот уже третий раз вызывают его в Уфу на предмет выдвижения. И что ж? Человек не соглашается. Отказался от работы в аппарате совнархоза: не приспособлен, говорит, к неподвижному образу жизни. Не стали настаивать, отпустили с богом. Потом предложили пост заместителя министра. Сказал, что не справится; и убедил, между прочим. Позже намечали его директором завода, и снова конфуз — не дал себя уговорить...

— Что же в этом странного? — горячо заступился за Амантаева Седов. — Его позицию легко объяснить. Выходит, человек отлично знает свое призвание, свои возможности. В этом суть дела. Не хочет уходить от живой работы.

— Позвольте, — возразил Юрюзанский. — Вот мы с вами — в аппарате. Что же, по-вашему, эта работа не живая?

Не отвечая, Седов продолжал:

— Девяносто девять человек из ста охотно принимают предложение о любом продвижении по службе. При этом принято считать, что начальство знает, кого оно продвигает. Уметь отказаться от высокого поста, сознавая, что ты на это не годен, удел честнейших людей!

Всю дорогу я присматривался к ним, своим случайным спутникам, и думал: вот с такими стариками жить можно. И дружить с ними стоит. Однако почему я так плохо их знаю?



Как только достал два билета на премьеру местного театра, сразу побежал в контору седьмого строительного участка: с пяти до шести у них собрание. А нам с Айбикой и перекусить надо, и домой забежать, переодеться. Волей-неволей пришлось пройти в зал, где было полным-полно народу. Поискал глазами, вижу — Айбика. Сидит впереди, во втором ряду. Немедленно сочинил записку, написал, что дело не ждет.

Минутой позже она обернулась и улыбнулась: значит, согласна. И велит, конечно, подождать.

По выступлениям ораторов сообразил: где-то проводятся довыборы депутата в Верховный Совет Башкирии, и от собрания требуется, чтобы оно выделило члена участковой комиссии. «О, это живо решат!» — успокаиваю себя. Тем более все ораторы предлагают одну кандидатуру, некую Хисматуллину.

И вот тут-то слово попросила моя Айбика. Интересно ее послушать.

— Я никак не пойму одного, — заговорила она, порядком волнуясь. — Что случилось за ночь? Вчера у нас было такое же собрание, и мы выбрали товарища Сабирова, моего сменщика...

В этом месте председательствующий перебил ее:

— Вчерашнее собрание недействительно.

— Почему? Председатель и секретарь были. Кворум был. Протокол вели.

— Никому не известно, — сказал человек из президиума, — кто выдвинул кандидатуру товарища Сабирова...

— Разве это так важно?

— Все важно в нашем профсоюзном деле.

— Ну что же, тогда должна сознаться: это я выдвигала кандидатуру товарища Сабирова. А вы лучше признайтесь, что его кандидатура кому-то из постройкома не понравилась. Вот где собака зарыта! А разве так уж важно: нравится он кому-либо из постройкома или нет? Сабиров — один из лучших башенников, и я не могу менять свое мнение о нем по заказу. Я буду голосовать за него. И только за Сабирова...

Если бы до этого дня у меня спросили, можно ли совершать подвиги на собраниях, я бы, пожалуй, сказал: это немыслимо. А вот оказывается, что и на собрании можно проявить мужество.

— Если бы ты знал, как трудно мне было выступать против прораба и постройкома! — созналась Айбика после собрания. — Я ведь страшная трусиха.

— Красиво выступила! — искренне похвалил я ее. — Смело.

— Знаешь что: если бы тебя не было в зале, я, может быть, и не осмелилась идти наперекор, просто духу не хватило бы...

Ну и наивная! При чем тут я! Я сам, например, никогда бы не рискнул пойти против всего собрания или, допустим, против цехового начальства, если бы оно гнуло одну линию. Я бы, пожалуй, считал: руководству виднее и пусть поэтому сами ломают голову.

47

Возле трамвая мы лицом к лицу столкнулись с Валентином. Он, очевидно, поджидал Айбику. И никак не предполагал, что она появится со мной. И совсем расстроился, когда узнал, что у нас билеты в театр.

Но кто-то же из нас двоих должен расстроиться.

Не вечно же мне.

...Впервые в своей жизни я сопровождаю девчонку прямо от дому. Дело это, оказывается, не такое простое. Во-первых, ждешь и ждешь ее, и пока ходишь по коридору, не раз подумаешь: опоздаем как пить дать. А во-вторых, когда лопается всякое твое терпение и ты заходишь в ее комнату, что же видишь? Она все еще не может подобрать себе наряд. То одно ей не нравится, то другое. Неожиданно выясняется, что бусы не идут к кофточке, кофточка — к юбке, юбка — к туфлям, а туфли, в свою очередь, — к шляпе.

Я уже подумывал: баста! Теперь ей не из чего комбинировать. Гардероб-то ее небольшой!

Именно тогда она вдруг вспомнила, что у Фатимы из сорок восьмой комнаты есть другие — янтарные бусы, а у Зайнаб из сто первой — туфли по последней моде. Одна из них живет, оказывается, на третьем, а другая — на пятом этаже.

А я жду, еще галантность при этом сохраняю.

— Не торопись, — говорю, — успеем!

Куда там успеем!

Мы прибежали к самому началу представления. Давным-давно третий звонок отгремел, это было видно по затемненному залу. Справа от нас, рядом с Айбикой, оказалась старуха лет под семьдесят, тугая на ухо. Глухие всегда больше всех болтают, это известно каждому.

Одним словом, не успело действие начаться, как она вдруг громко сказала своему супругу:

— Ты не помнишь, выключили мы газ или не выключили?

Старик, насупившись, долго глядел на нее, потом неопределенно пожал плечами. Остался недоволен, его

понять можно. Не вовремя старуха вспомнила о газе — какой уж тут спектакль!

— Знаешь, в антракте я домой сбегаю, проверю, — сказал он покорно.

Старик ринулся к двери, как только раздались аплодисменты. Ему, конечно, не до этого было, не до аплодисментов.

«Наверное, они где-то недалеко живут, — подумал я, — если в антракте решил домой сбегать».

У нас с Айбикой только и было разговоров о забавной паре. Вся эта история нам показалась куда более интересной, чем то, что происходило на сцене.

Ждали, что будеть дальше. Так сказать, во втором действии.

Старик спокойно уселся на свое место. По-видимому, с газом у них был полный порядок. Только начали смотреть спектакль, как снова слышим:

— А дверь за собой не забыл запереть?

Тут он уже не выдержал:

— Не можешь оставить меня в покое хотя бы в театре?

Однако вижу: спокойствие окончательно покинуло старика. Волнуется почем зря за дверь, которая в это время, может быть, не заперта.

— Ладно, — проворчал он. — Так и быть, сбегаю домой во время следующего антракта.

После спектакля я пошел провожать Айбику. Она хохотала всю дорогу, вспоминая или то, что сказала старуха, или то, что ответил старик. Нам было очень весело.

Только перед тем, как пожелать мне спокойной ночи, Айбика сделалась серьезной.

— Неужели и мы на старости лет будем такими смешными? — спросила она.

Я заверил ее в том, что не будем. Не будем мы смешными, вот увидишь!

На другой день я нарочно пошел на вахту пораньше, непременно желая рассказать ребятам о забавной истории в театре.

...На улице трескучий мороз, а у нас в цехе тепло и уютно, хоть в одной рубашке ходи, — отмечаю я про себя. Чувство уюта усиливается тем, что дела наши идут как надо. Первые десять тысяч тонн карбамида отправили во все концы страны и даже, как говорил Амантаев, на Кубу, далеким нашим братьям.

Влетаю в операторскую, чтобы расхохотаться прямо с порога, и вижу совершенно необычную сцену: Нагима внимательно рассматривает пальцы на своих руках. Я никогда не видел, чтобы человек проделывал это так сосредоточенно. Ну, руки как руки, понятное дело.

— Ты что это? — удивился я. — Или впервые свои пальцы видишь?

Нагима не удостоила меня ответом: с самым серьезным видом она продолжала изучать свои мозолистые руки.

Наконец отозвалась.

— Сижу и думаю, какие руки будут у работниц через двадцать лет? Уж не такие же шершавые. Во всяком случае, непохожие на эти...

Вот оно что: ведь она на свой лад думала о проекте Программы, на свой лад неслись ее мысли через годы... Здорово тронуло меня ее рассуждение.

Даже обнять ее захотелось по-братски!

— Женщины по-другому будут жить, и руки у них, понятно, облагородятся, — умозаключил Катук. — Не работницами их будут называть, а повелительницами машин. Во всем цехе одна-единственная женщина и

та — повелительница, в другом — вторая, в третьем — третья.

Я посмотрел на мелкую сеть морщинок под глазами Нагимы и вспомнил: однажды заболела ее соседка. Нагима, не задумываясь, взяла ее двух детишек в свой дом: «Там, где четверо, еще двое не в тягость!» — говорила она в те дни.

Даже после страшной смерти Доминчеса, когда весь цех без уговора стал сторониться Лиры Адольфовны, Нагима была к ней внимательна. Она понимала: нельзя человека оставить в беде, а ведь это была беда. Потом это передалось нам всем.

Одно очень нужное слово, услышанное в трудную минуту, преображает, а иногда и спасает человека — вот как мы нужны друг другу.

48

Я делаю одно открытие за другим. Внезапно прихожу к выводу: вокруг меня изумительные люди!

Никогда не задумывался о Прохоре Прохоровиче. Ну, работяга, ну, танкист. Мало ли бывших танкистов на этом свете?

Выясняю: под Курском, в «Долине смерти», подбили танк нашего Прохора Прохоровича. Что он сделал? Не раздумывая, пересел на другой танк, в котором экипаж был контужен, и снова в бой. В этот день он прошел через всю «Долину смерти», расчищая путь пехоте; его снова подбили, полуживой выполз из машины и возглавил атаку пехотинцев.

Такому человеку надо в ноги поклониться. А боевое прошлое нашей ворчуньи тети Саши? Она служила радисткой в партизанском отряде под Смоленском.

До чего я был слеп, если ничего раньше не видел.

Даже о мрачном Барабане и о грустной Лире Адольфовне я начинаю думать иначе, как-то по-хорошему. Убивались бы они так, если бы не страдали глубоко, если бы не осознали все горе, какое причинили Доминчесу при жизни?

По логике вещей я должен бы презирать Катука, а выходит, что и в нем живет мужество. Многое нужно было ему, потомственному попу, продумать, прежде чем порвать с религией. Ведь его никто не принуждал, просто сработала своя собственная совесть...

И как это здорово, что мир населен такими великолепными людьми!

— Если украл беспартийный — дать ему год тюрьмы, украл коммунист — три года! — заявляет Нагима.

Порою она становится законницей.

— Потому что, — разъясняет она, — член партии должен быть чище, чем мы, обычные люди, — строже относиться к себе, иметь более возвышенную душу...

Порою мне хочется хоть глазком заглянуть далеко вперед и мысленно представить себе, как будут жить мои внуки или правнуки. Я думаю, однако, что даже при полном коммунизме не обойтись без законов, предопределяющих права и обязанности членов общества. Ведь люди-то по качеству всегда разные.

Но и поощрения и наказания будут, пожалуй, другие. Очень жаль, что никто об этом не пишет, во всяком случае, такая книга мне в руки не попадалась.

Поэтому я сам пытаюсь сочинить законы для потомства.

Начнем с поощрений... Наверное, будут введены новые звания, вроде «Потомок коммунара», «Наследник Октября»... И среди премий будет и такая: право первым осваивать звездные миры.

Как ни раскидываю умом, а прихожу к выводу, что им, нашим потомкам, не обойтись и без наказаний. Придется предусмотреть на всякий пожарный случай.

Самое первое наказание — на определенное время лишать человека права на труд.

Кушай сколько хочешь, спи, развлекайся, а вот трудиться не смей! По-моему, страшнее наказания не будет!

И звания для таких можно завести: «Не друг мне», «Не товарищ мне», «Не брат мне».

Иногда меня занимает мысль: а как же мы узнаем, что уже живем при полном коммунизме? Не будут же об этом оповещать по радио или сообщать каждому по телефону.

По-моему, это будет происходить так. Например, звонят в наш город и спрашивают:

— Готовы ли жить при полном коммунизме?

Мы, естественно, отвечаем, что готовы.

Тогда предлагают:

— Докладывайте о готовности!

Председатель горсовета начинает докладывать:

— Все работаем высокопроизводительно, тунеядцев не имеем вот уже десять лет. Никто не ссорится. Тюрьмы пусты давным-давно. Подхалимов нет, хамство и хулиганство ликвидированы, одного карьериста обнаружили в прошлом году, но и то по ошибке — счетная машина подвела; на весь город остался один завистник (по старости лет неперевоспитуем); один почитатель рангов (бывший швейцар) и один равнодушный человек, но и он взят нами на общественное перевоспитание.

Даже Катук начинает рассуждать о будущем.

— Коммунизм — это множество кнопок,— говорит он. — Нажал одну — появляется хлеб, нажал дру-

гую — сало, нажал третью — вино... У каждого человека на квартире будет по семьдесят одной кнопке.

— Почему же по семьдесят одной, а не по сто?

— Тут уж не спорь, по семьдесят одной, и баста! — И заразительно смеется.

49

«Наискосок от дома, в котором я родился и вырос, прямо через улицу, стоит деревянный домик с мезонином. Там, под зеленой крышей, в нескольких крошечных комнатах когда-то жил Ленин. Пусть он совсем немного прожил в этом уфимском домике, но в нем до сих пор присутствует что-то ильичевское. Может быть, это торжественно настроенные души людей, посещающих ленинский домик. Может быть, ощущение глубокой сосредоточенности в минуту, когда становишься на тропку, по которой когда-то ходил Ильич. Может быть, ощущение счастья, возникающее от того, что в тебе живет глубокая любовь, бесконечное уважение к Ленину».

...Так, по-моему, говорил Амантаев с нами, со слесарями, об уфимском домике с мезонином. Кажется, это было тогда, когда наш цех получил поздравительное письмо из Центрального Комитета.

Я невольно вспомнил об этом сейчас, направляясь в гости к Амантаеву, избранному делегатом Двадцать второго съезда партии. Мне хотелось поздравить его и посмотреть на него, так сказать, в новом качестве. Ведь не был у него с тех пор, как переехал в общежитие.

Иду по улице и стараюсь представить его таким, каким я его знаю: пусть все его лицо в мелких рябинках

и глаза близорукие, пусть он не «болеет» за комбинатских футболистов и не увлекается музыкой — ничего уж тут с ним не поделаешь, — но одна душа его чего стоит.

Внезапно я сознаюсь себе: в последнее время мне его все-таки не хватало.

По любому вопросу или о любом предмете он имеет свое собственное суждение. А это очень важно.

Вот и тридцать седьмой квартал. Невольно на меня нахлынули воспоминания. Эту парадную дверь я впервые открыл несколько месяцев тому назад, на этой площадке, между первым и вторым этажами, помнится, застрял громоздкий гардероб Саратовых...

Я переступил порог его обители и остановился в нерешительности. Каков он? Найду в нем какую-нибудь перемену или нет? Для меня очень важно, как он заговорит. Я человек тонкий. У моего барометра моментальная реакция.

Пока мы всматривались друг в друга, я успел подумать: если в нем, в Амантаеве, обнаружится балагур или хвастуша, он выдаст себя: «Вот так, братец, доверили поехать на съезд». Бестактный человек дал бы как-то понять, что, мол, он и не мыслил видеть другого в качестве делегата. Почему бы не порисоваться перед безусым пареньком?

Я смотрел на него во все глаза и верил: не огорчит меня. Очень важно не обмануться в человеке. Тем более когда ты им дорожишь.

— Тебе повезло — на мое дежурство угодил. Так и быть, угощу чаем, — проговорил он и неожиданно подмигнул, точь-в-точь как в доброе старое время, когда мы с ним жили под одной крышей.

Чье же еще дежурство по кухне может быть с тех пор, как он живет один? Я невольно улыбнулся.

Такта в нем предостаточно. Без ущерба для него занимай сколько хочешь: нужен пуд — бери, два — пожалуйста...

Я не тороплюсь соглашаться на чай.

— Вы же знаете, я не большой охотник чаевничать. Можно пить, можно и отказаться.

— А, понимаю... Тебя потянуло сюда, чтобы поговорить со мной?

— Диагноз точен. Есть такое желание.

— Я так и знал, — он не скрыл радости. — Помнишь наш спор о рае и аде? Мы тогда лишь начали, но не завершили важный для нас обоих разговор.

— Как не помнить!

Я увидел его таким же, каким помнил: горячим и веселым.

— Ты не спрашивал себя: почему мы остановились на полпути?

Я помалкиваю, зная, что ответ последует. Просто надо иметь немного выдержки.

— Потому что мы тогда лишь присматривались друг к другу, и казалось мне, чего греха таить, что ты внутренне еще не готов к большим обобщениям. Ты шел на тормозах. В тебе сидел зуд противоречия. Ты только не сердись — все мы были когда-то мальчишками. С тех пор ты прошел еще одну часть пути, но разрешил не все свои сомнения. Так, что ли?

— Пусть будет так...

— Так или пусть будет?

Я рассмеялся.

— Так... Вы тогда в категорической форме не посулили мне рая. Однако за это время я повстречал немало людей, которые уверяют, что рай на земле — вещь реальная и доступная.

Он вскинул глаза, как бывало. Целую минуту всматривался в меня, точно прицеливаясь и прицениваясь, и неожиданно поднялся и заходил от окна до двери.

— Очень важно, какое содержание вкладывает каждый из нас в это слово, — произнес он, останавливаясь передо мною. — Усталый путник порой мечтает о тихой гавани... Бывает и иной сорт людей, я бы сказал — охотники до сытенького стола, мягонькой постели, уютненького безветрия... Если представлять себе свой «рай» как мещанское благополучие, отступничество от активной и красивой борьбы, то прости покорно — я не мыслю себя жильцом в том богоугодном месте.

— Но если понимать под этим термином небывалый прогресс экономики и культуры, наиболее полное удовлетворение материальных и духовных потребностей людей?

— О, для этого в моем лексиконе имеется отличное, притом очень точное выражение: создание материально-технической базы коммунизма.

Он загорелся, даже помолодел как будто.

— В тот раз, помнишь, я был резок с тобою. Я не мог поступить иначе. Я считаю себя ответственным за твою душу. И за все души, которыми я дорожу... Идейная борьба не терпит двойственности и робости, мягкотелости и отступничества...

Я подумал: Амантаев из той породы кристально чистых людей, кому полагается говорить во весь голос: «Я горжусь своей верностью тебе, моя партия!»

В эту минуту я позавидовал ему, строгому судье моей души.

Но не позволили нам всласть наговориться. В дверь постучали, и неожиданно вошла Майя Владимировна.

Я даже немного растерялся, когда увидел ее вот такой... Она, казалось, решилась на что-то отчаянное. Я не знаю, что с ней произошло, но подумал: наверное, вот с таким одухотворенным лицом и такими горящими глазами идут на подвиг...

Но ей было не до меня. И вообще чувствовалось, что она не ожидала меня тут встретить.

— Вы извините, мне надо уходить, — проговорил я, вставая и не спуская глаз с Майи Владимировны.— Засиделся сверх положенного...

Повторилась старая ситуация, но мне совсем не было смешно. Мне было почему-то тревожно.

Амантаев спросил меня удивленно:

— Куда же ты собрался? Сам знаешь, завтра уезжаю. Сиди!

Предлагает искренне, без всякой задней мысли. Неужели не хочет, чтобы я оставил их вдвоем?

И вместе с тем рад, что она пришла. Я это увидел по его глазам. Что происходит между ними, этими на диво хорошими людьми?

— Выпейте с нами чаю, Майя Владимировна, — предлагает ей Амантаев.

Майя Владимировна разрешила поставить перед собой стакан, но даже не дотронулась до него.

Наступило молчание.

— Чай остыл, а гостью и угостить нечем, — проговорил я. — С вашего разрешения я приготовлю ужин. Не пройдет и двадцати минут...

Мне показалось, что Майя Владимировна благодарно вскинула на меня глаза.

Я вышел на кухню и начал там греметь да шуметь. Поджарил яичницу, нарезал хлеба. Даже бутылочку вина нашел, ту самую, которую купил еще летом, в первые дни моего пребывания в этой квартире...

И в это время до меня донесся громкий, ясный голос Майи Владимировны.

— Все дело в том, что вы не можете забыть свою первую любовь. Именно поэтому вы настояли на моей командировке за границу. Вы меня испугались.

Я терпеть не могу подслушивать чужие секреты, но что я мог сделать в моем положении?

— Один год пройдет очень быстро, — ответил Амантаев. — Мы будем переписываться.

— Вы хотите испытать меня?

— Я хочу испытать прежде всего себя.

...Я возвращался домой, взволнованный тем, что услышал.

«Голуби устроились лучше и аисты, — говорил я себе. — У них в любви не бывает третьего лишнего, не бывает треугольников».

50

— Каким образом ты оказался на базаре?

— Представь себе, самым прозаическим.

— А все-таки...

— Ладно, расскажу по порядку. Ехал в автобусе. И вижу в окно тебя, идешь с базарной сумкой. Схожу на первой же остановке и начинаю размышлять: бежать за тобой или нет? И тут вспоминаю твой приказ: если увидел меня, то не раздумывай. Иди на риск очертя голову! Помнишь, ты говорила это мне однажды ночью, в степи?

Она весело рассмеялась.

— Дурень ты мой...

Короче говоря, мы ходим по базару и прицениваемся к товару. Денег у нас немного, а купить хочется всякой всячины... Отходим от мясного павильона и

возвращаемся к крытым рядам, где выставлены на прилавке соленые огурцы и моченые яблоки, смоленская клюква и сухумские мандарины.

— Румяные, ароматные, персидские, кавказские, сам бы кушал, да денег нет. Подходи, барышня, даром отдам!

Нам нужно все и одновременно ничего. Веселимся до упаду и малость грустим... Что-то приобретаем в эту минуту и что-то теряем...

— Ну, кому северный виноград? Ну, кому северный виноград?

Пробуем и покупаем. Или пробуем, но не покупаем. Красивым барышням и на рынке все позволено.

— Откуда родом? — спрашиваю торговку.

— Из Рыбинска.

— Неужели из такой дали привезли картошку? — удивляюсь я. — Вот не думал!

— А-а... ты не про меня, а про картошку спрашиваешь? Картошка тутошняя, стерлитамакская.

Нам весело, будто у нас большой праздник. Даже то, что покупаем стерлитамакскую картошку, вызывает у нас бурю восторга.

Временами нам кажется, что мы с Айбикой именинники и весь город поздравляет нас. Пусть попробует кто-нибудь доказать, что не в нашу честь сегодня будут соревноваться боксеры, что не ради нас приехал на гастроли оперный театр!

Наконец мы уходим с базара. Я спрашиваю Айбику:

— Ты сейчас домой?

Она кивает головой.

— Девчонки, наверное, ждут не дождутся. Сегодня я им обещала сделать пельмени. А ты куда?

— Зайду на телеграф. Позвоню матери.

Она нерешительно потопталась на месте.

— Слушай, Хайдар, хочешь, чтобы я тоже пошла с тобой?

— Хочу!

Схватившись за руки, точно дети, мы вбегаем на телеграф. И тут же принимаем серьезный вид. На телеграфе ведут себя чинно.

Женщина в цигейковой шубе то и дело подносит к глазам носовой платок, а ее сынишка беспечно возится с игрушечным автомобилем. В углу сидят две крестьянки и молчат, стесняясь людей, им не часто приходится звонить в далекую Уфу или Казань. Какой-то отставной военный без погон читает книгу.

Женщина в цигейковой шубе плачет, а мы задыхаемся от счастья. Нам так много надо сказать друг другу, но мы не знаем, как это сделать при людях. И вот находим выход — на обратной стороне телеграфного бланка пишем друг другу записки.

— «Завтра понедельник. Встречаемся обязательно!»

Она перечеркивает.

«Занята. Техминимум».

Я пишу:

«Вторник? Концерт венгерских артистов».

Она перечеркивает вторник.

«Среда!!»

«Согласна».

«И четверг?»

«Салаватики. У них обязательно должна быть».

«А пятница?»

«Нет, не смогу, бюро райкома».

«Айбика, суббота!»

«Обещала Валентину».

«Опять Валентин?»

«Да. Идем на каток. Честное слово!»

«Воскресенье наше?»

«Наше, Хайдар».

Что я раньше знал о девчонках? Только то, что они ломаются до второй встречи, а потом сами лезут целоваться. И сами назначают свидания. Попадались такие.

Через час, поговорив с Уфой, я пошел провожать Айбику. Снова несу ее базарную сумку. Спрашиваю:

— Когда-нибудь ты сможешь отдать мне всю неделю? От понедельника до понедельника?

— Я и так провожу с тобой все свободное время...

— Нет, не все.

— Что ты имеешь в виду?

Я пристально смотрю ей в глаза.

— А без комсомольского влияния не можешь?

— Разве оно тебе мешает?

— Оно-то нет, а он — да!

Она отлично понимает, что я говорю о Валентине. Смеется.

— Мне его жалко... Он говорит, если потеряю, тебя, то потеряю голову.

— А меня не жалко?

— Нет. Ты, по всем данным, никогда не потеряешь голову.

— Ты это точно знаешь?

— Точно...

Я передаю ей сумку, протягиваю руку.

— До завтра, Айбика.

— Ведь понедельник занят.

— До вторника...

— Ты же сам понимаешь... и вторник не мой.

— Среда наша?

— Наша...

51

Я считаю по пальцам, сколько дней остается нам до встречи. Айбика занята до конца недели, только воскресенье мое. «Наше!» — сказала она.

И вдруг слышу душераздирающий крик:

— Человек сорвался с крана!

Лечу по лестнице вниз, Барабан — за мной.

Нас встречает ураганный ветер, мы прикрываем лицо варежками, чтобы не задохнуться.

Со всех сторон бегут люди. Толпа разрастается, все возбуждены.

Кто-то пытается успокоить людей:

— Пострадавшего увезла карета «Скорой помощи»...

— Как же он так оплошал?

— Он был на земле, когда налетел ураган. Наверное, по нужде сошел вниз. Полез обратно, и вот тут его сорвало...

Мне показалось, что застонал Барабан.

И снова отчаянный возглас:

— Глядите, ветер погнал кран!

Как только этот крик дошел до сознания людей, они отхлынули в сторону.

Кран качнулся и стал крениться, ускоряя движение. Все оцепенели. В это мгновение от толпы отделилась Айбика. Зачем она тут? Подошло время ее вахты?

Я бегу ей наперерез.

— Стой! Куда ты?

— Пока не поздно... Нужно... Сорвало с креплений.

Я не слышу, что она еще говорит, снова все такой же отчаянный крик бьет мне в уши:

— За-хва-ты!..

Соображаю: надо пустить в ход захваты, это единственный шанс на спасение.

Айбика что-то крикнула мне, но я не слышу; я бегу вслед за нею, а за мной несется Барабан.

Ветер сбивает нас с ног, мы задыхаемся. Но, кажется, поспеваем вовремя и сразу пускаем в ход противоугонные захваты.

— Готово! — кричу я.

— Готово! — отзывается Барабан. Он действует слева от меня.

Только тут я начинаю понимать, что мы предотвратили: башенный кран мог опрокинуться прямо на наш цех, и тогда... Холодный пот прошиб меня, когда я попытался представить себе размеры возможной катастрофы.

Огромный кран дрожал мелкой дрожью. Айбика, подбежав, стиснула мои руки.

— Стрела, ребята!

— Что?

Поднимаю голову и снова леденею: грозная стрела качнулась в одну сторону, потом под порывами ураганного ветра в другую. Если не закрепить ее — не миновать нам новой беды. Кран рухнет, это как пить дать!

Вряд ли кто рискнет лезть на верхотуру в такой ураган. Верная гибель. Немедленно сорвет.

А лезть нужно. Если не кому-то другому, то мне.

Что говорила мне девчонка, у которой глаза как море? «Ты еще просто не готов к большим делам, — говорила она мне. — А когда человек еще ничего не сделал, ему немного боязно ринуться вперед. Если ты будешь колебаться или у тебя не хватит решимости, я обязательно приду». — «Ладно! — отвечал я тогда. — Ты приходи, когда мне трудно!»

Айбика пришла ко мне вовремя.

Ладно, девчонка, пусть будет так, как ты сказала!

Железный трап обледенел, приходится рассчитывать каждый шаг, проклятый штормовой ветер душит и слепит глаза.

Все пути назад заказаны, это я понимаю. Надо упрямо карабкаться вверх, пока не доберешься до самой кабины.

Голос Айбики я слышу, но слов разобрать нельзя — ветер их уносит. Но вот и голоса не слышно. Я один на один с ураганом.

Но ненадолго... Не одолел я и половины пути, как почувствовал, что кто-то тянется вслед за мной.

Неужели Барабан? С ума он сошел!

Но нельзя отвлекаться, надо ползти вверх, только вверх.

Чувствую, что начинаю терять силы; пришлось остановиться, передохнуть немного. Ветер не знает пощады, толкает в спину и в грудь, забивает снегом глаза и уши.

— Держись, мальчик! — это я сам себя подбадриваю.

Протянул руку — кажется, кабина. Да, кабина машиниста. Я у цели! С трудом, почти задыхаясь, протискиваюсь в узкую щель. Даже пальцем шевельнуть не могу, до такой степени устал.

Вслед за мной вползает Барабан. Он прерывисто дышит мне в затылок и не может сказать ни слова.

— Где тут тормоз? — спрашиваю, ведь я мало что смыслю в этой технике.

— Ручка контроллера справа, — хрипит Барабан. — Принимай на себя!

— Сделано!

Барабан — бывалый человек, разбирается во всем.

— Слушай, Барабан, что это ты полез за мною?
— Знал, что один ты не доберешься...
Может быть, он и прав.
Обнявшись, мы молчим. Башню качает почем зря.
— Малость передохнем и обратно. Ладно?
— Сдует, — шепчет Барабан прямо мне в ухо. — Надо переждать.
— Можно и переждать.
На востоке медленно пробивается рассвет. Внизу я вижу крохотных человечков. «Надо отыскать белую шубку Айбики», — говорю я себе.
— Гляди, Айбика все еще там, внизу, никуда не ушла, — говорю я Барабану, не скрывая своей радости. И совсем возгордившись, продолжаю: — Она что-то кричала мне вслед, да я не расслышал.
— «Убьешься!» — кричала она тебе, — жестко проговорил Барабан. — Ведь я тогда стоял рядом с ней. «Не ходи!» — вот что она кричала.
— Этого никак не может быть, — отвечаю я, сбитый с толку. — Это на нее непохоже! Ты не расслышал. Конечно, не расслышал. Она всегда хотела, чтобы я был немного посмелее, чем есть. Ну, ты знаешь девчонок, им нравятся смелые парни.
Барабан не спорит.
— По всей вероятности, я ослышался, — говорит он. — Да, по всему видать, я ослышался.
Все в кабине звенит на тысячи голосов. Мы смолкаем. Что толку беседовать, когда сам понимаешь, что все эти слова — вздор и никому не нужны.
Барабан делает попытку закурить, но это ему не удается. Ветер тут же задувает огонек. Мой товарищ долго упорствует и, наконец, сдается.
— Закурим на земле...
Я говорю:

— Амантаев, пожалуй, уже добрался до Москвы.

— Он уже в столице, это точно, — отзывается Барабан. — На съезд опаздывать не полагается.

— Не могу я толком понять, почему Амантаев привязался ко мне, — продолжаю я рассуждать. — Если говорить начистоту, он мне не брат и не сват. Ни с того ни с сего приехал в Уфу и забрал меня с собой. Смешно, не правда ли?

Барабан говорит серьезно:

— Вижу, ты не в курсе событий. Когда Саратова неожиданно уехала за границу, у нас прошел один слушок. Не ручаюсь за достоверность, но рассказывали так. Лет двадцать назад в Уфе должна была состояться свадьба. В доме невесты собрались гости. Жених задерживался. Ждали его до полуночи, потом до рассвета. Жених так и не появился, да и не мог появиться, его арестовали в ту ночь. Года через три выяснилось, что человек этот репрессирован ни за что, его выпустили, а женщина тем временем успела выйти замуж. За какого-то летчика. Первый жених уехал в другой город, потом долго воевал, где-то учился. Потом его снова потянуло на родину...

— Это был Амантаев?

— Говорят, он.

— А невеста — это моя мама?

— Говорят, она.

Спазмы сжали мне горло. Неужели правда?

Ураганный ветер так качнул башню, что мне показалось — настал наш последний час. Я даже чувствовал, как побелели мои губы. У Барабана застыли зрачки — таким я его еще никогда не видел.

— Ну, Хайдар, пришло время помирать.

— Ты что, очумел? Нечего хоронить себя раньше времени.

Барабан не трус, это я знаю. Просто он констатирует факты. Лицо его спокойно. Во рту папироска, и, как всегда, он жует мундштук. Но ему надоело жевать, он выхватил из зубов папироску и бросил ее в бездну, зияющую под нами.

Я взглянул вниз: люди суетятся по-прежнему. Но если мы упадем, то вместе с башней. Нас примут не руки, а земля.

— Эй, мальчишка, не раскисать!

В следующее мгновение с грохотом налетел ветер; с соседнего здания унесло половину крыши. Что-то ударило о наш кран. В воздухе замелькали кирпичи, листы железа...

И сразу же потух свет. Стало темно, как ночью.

— Шабаш! — сказал Барабан, положив руку на мое плечо. Я почувствовал, что башня плавно склонилась налево, будто чуточку скользнула в воздухе. Падаем? У нас же был составлен план на всю неделю, Айбика! И я шепчу ее слова: «Воскресенье наше»... Наше! И никто его у нас не отберет...

Я жду: вот-вот должны опрокинуться. Но нет. Ураган исчез внезапно, как и налетел. Он, вероятно, зло шалит уже где-то в горах, выворачивая с корнем деревья, устраивая обвалы, сдувая неосторожных людей в пропасть.

— У тебя, браток, висок побелел!

Это не сразу дошло до моего сознания, да и какое это имело значение, если мы остались в живых.

Пусть в девятнадцать неполных лет будет седина! Черт с ним, с виском!

Я говорю себе: ты, парень, как будто исполнил свое первое дело...

АДЪЮТАНТЫ НЕ УМИРАЮТ

Хосе старый да Хосе малый

В небольшой сентрали — так называют на Кубе сахарный завод с прилежащим к нему рабочим поселком — разные хижины: бедные и богатые.

В бедных живут женщины без мужей. Еще тяжелее вдовам с детьми. А вот Хосе считает себя богачом: в их хижине живут одни мужчины — он сам и его дед.

С мужчинами жить куда легче, это известно ему, как никому другому. Когда нет риса, женщины плачут, а дети проливают слезы по любому поводу. Мужчины терпят. Терпят и чертыхаются.

Кроме того, мужчины умеют думать. Нынче говорить опасно: живо тебя сцапают,— а думать можно. И никто не может догадаться, даже сам сеньор управляющий, о чем ты в этот миг думаешь.

Хосе тоже размышляет... Он никак не поймет, почему сегодня все люди стали очень внимательны к нему. Каждого, кто проходит мимо, интересует его здоровье и настроение.

— Как дела, Хосе? — спросил один.

— Держись, мальчик! — сказал другой.

— С каждым это случается рано или поздно, — вздохнул третий.

Только сейчас он сообразил, что люди сочувствуют ему: где-то в городе скончался его отец. Он погиб на улице. Прямо на асфальте. Вместе с товарищами он дрался с полицией, и его убили...

Эту весть вчера принес товарищ отца. Он подробно рассказал деду, как это было. А дед, вернувшись домой, рассказал мальчику.

Дед, однако, удивился тому спокойствию, с которым Хосе выслушал это известие.

— Почему ты не плачешь? — спросил дед строго.

— Я ведь его совсем не помню, — ответил мальчик.

Он, конечно, говорил неправду. Отец дорог каждому, независимо от того, когда ты его в последний раз видел. Но Хосе обязан был сдержаться. Ведь в их хижине не принято падать духом даже в самые трудные времена... Поэтому он выбежал из хижины, чтобы быть подальше от людей, даже самых близких.

Он долго стоял один, обняв молодую пальму, свою ровесницу. Стоял и смотрел на далекие горы. Потом, когда закатилось солнце, встречал звезды.

«Как ни странно, — думал мальчик, — солнце и мухи засыпают одновременно...»

Хосе вернулся в хижину и удивился: на полу сидели сосед Санчо и сосед Хуано. «Они пришли нам сочувствовать!» — с благодарностью подумал мальчик. Их лиц совсем не видно. Только когда они втягивают в себя дым сигар, большие глаза блестят. Глаза как ночные звезды!

И вдруг на пороге бесшумно появился еще один человек. Мальчик сразу догадался, что этот человек и есть товарищ его отца. Хосе хорошо разглядел его. Одежда городская, и без шляпы.

Маленький Хосе подумал: молодой и седой!

Старый Хосе Педро Фернандо принял гостя как равного себе. Наверно, потому, что гость седой.

Ха, молодой, а седой!

Мужчина вдруг спросил:

— Можно ли положиться на этого?

И он острым своим подбородком указал на соседа Хуана.

— Да, — ответил старик Хосе, — Хуану можно верить, он умеет только слушать.

— А можно ли положиться вот на этого?

— Да, Санчо тоже можно верить. Я его знаю сорок лет.

Только тогда странный человек повернулся в сторону мальчика:

— И мальчишка тут?

Маленький Хосе не стал дожидаться, пока за него ответит дед.

— Мне тоже можно верить, — сказал он.

Вслед за этим старик промолвил:

— Хосе — мой внук. Мы оба хозяева этой хижины.

Седой гость заговорил о горах Сьерра-Маэстры. Мальчик вздрогнул: за такие разговоры теперь пристреливают без всякого суда. Потом он говорил о барбудос — бородатых партизанах. И через каждые десять слов повторял: «Сахар пахнет кровью».

Мальчик подумал: «Ха! Он городской, этот человек, и не знает, что сахар не имеет никакого запаха. Кровь тоже».

Сахар — желтый, сахар — белый! И сладкий! Лю-

ди, однако, не ощущают его запаха. А вот мухи чувствуют запах сахара за сотню миль. На уборку тростника они слетаются со всего острова, и тогда над большими ямами висит черная туча.

Сосед Хуан молчал. Он не словоохотлив. Но сосед Санчо, наверное, что-то держал на уме.

— На той неделе убили Антонио, — произнес он.— Вчера не вернулся Педро, мой брат. Путь в горы закрыт на семь замков. На каждой миле пути можно умереть дважды.

Никто ему ничего не ответил. Это не новость.

Утром, еще до восхода солнца, к хижине подъехал этот дьявол — управляющий централью сеньор Равело. Он загадочно сказал:

— В других местах со смутьянами расправа быстрая, я — добрый.

Хосе незаметно бросил взгляд на деда. Тот сидел с невозмутимым видом, будто этот разговор вовсе его и не касался.

С тем сеньор и уехал. Сосед Санчо слышал весь этот разговор. Он сказал старику:

— Наша акула что-то разнюхала. Будь осторожен!

Старик криво усмехнулся:

— Не мы, а он, лакей, должен опасаться нашего гнева!

Маленький Хосе никогда бы не сумел так здорово ответить. Он гордился дедом. Он был заодно с ним! «Дед, я тебе построю дом с террасой, вот увидишь!»

Мальчик Хосе мысленно дарил всем людям (конечно, если они ему нравились) дома с террасами. У него широкая натура и доброе сердце. Ему ничего не жаль!

Другой бы испугался гнева сеньора управляющего, а старый Хосе Педро Фернандо — нет. Он родился мужественным человеком.

Ему, наверное, захотелось разбудить сердца всех гуахиро — батраков, не иначе.

Днем дед и внук были там, где гуахиро орудуют кривыми мачете и высокий лес тростника падает под ножами сильных людей.

Дед сказал гуахиро, а их было много:

— Поберегите силы для другого, более важного дела.

Мальчик не понял, о чем речь, но люди поняли. Сосед Санчо поспешно сказал:

— Ради всех святых, тише! Тебя могут услышать!

Мальчику не понравились его слова. Он сказал самому себе: «Ты останешься жить в своей хижине, и никогда я тебе не построю дом с террасой!»

— Я расскажу вам одну историю, — начал снова дед. — Это истинная правда, и, быть может, кое-кому будет стыдно.

И все посмотрели на Санчо.

— Дело было в январе тысяча девятьсот двадцать четвертого года, — продолжал дед. — В то время нам было ничуть не легче, чем сейчас. Однако находились храбрые люди. Однажды мэр маленького города Регла — его теперь проглотила Гавана — мужественный человек Антонио Бош Мартинес показал, на что способен настоящий кубинец. Он сказал нам: «Согласно поступившим телеграфным сообщениям, в России скончался гражданин Николай Ленин, а на субботу двадцать шестого текущего месяца назначены его похороны...»

Тут сосед Хуан поправил старика:

— Если не ошибаюсь, Ленина звали иначе...

— Знаю! — рассердился старый Хосе. — Теперь знаю, а тогда мы не знали. И вот Антонио Мартинес сказал нам:

«Объявить — и я объявляю! — в учреждениях муниципального управления двадцать шестое января нерабочим днем;

предложить — и я предлагаю! — всем жителям округа почтить двухминутным молчанием столь скорбное событие;

а также призвать — и я призываю! — собрать весь народ в пять часов пополудни: в этот час в России будут хоронить прах Ленина. Собрать народ на холме, известном своей крепостной стеной, где будет произведена посадка оливкового дерева в память этой даты и события, которое нас опечалило...»

Мальчику показалось, что среди тростников он заметил шляпу сеньора управляющего, врага, но Хосе не посмел перебивать деда. Старый Хосе Педро Фернандо не любил, когда его перебивают на полуслове.

Сосед Санчо поспешно спросил:

— И вам удалось тогда посадить это оливковое дерево?

— Шел ливень. Это, однако, не помешало двум тысячам мужчин подняться на холм и ровно в пять часов посадить там памятное дерево...

Тут внезапно появился сеньор управляющий. Он заговорил еще более загадочно:

— Это ты, старый Хосе, утверждаешь, что сахар пахнет кровью?

Другой бы растерялся, но Хосе Педро Фернандо был смелый человек. Он спокойно ответил:

— Ты хочешь знать правду, Равело? Не сахар, а наше время такое, оно пахнет кровью!

Старик говорил как равный с равным. «Он у меня

истинный гуахиро, — прошептал мальчик. — Никогда и ничего не боится».

А сеньор Равело не нашелся что ответить. Это заметили все.

Дед и Хосе возвращались в хижину как победители. Они и были победителями, так казалось мальчику. Однако дед вдруг сказал ему:

— Я один дойду до хижины, а ты, мой Хосе, сбегай и предупреди нашего гостя. Он не должен появляться здесь ни сегодня, ни завтра, пока не остынет гнев сеньора управляющего. Если поторопишься, то ты его встретишь там, где наша маленькая дорога соединяется с большой дорогой, идущей из города Сантьяго-де-Куба. Скажи ему: дед сам сделает все что полагается.

Дед был прав: этот молодой и седой понял мальчика с полуслова.

— Я верю твоему деду, — сказал он. — И он знает, что полагается делать. Пожелай мне, Хосе, счастливого пути! Я ухожу в горы. Мне пора отращивать бороду...

— Пусть сопутствует тебе удача!

Обратно Хосе шел медленно. И зря! У их хижины собралось много народу, и мальчик, увидя это, побежал.

— Что случилось?

Но никто не ответил мальчику. Все молча посторонились, чтобы он мог пройти в хижину. Здесь на полу, растянувшись от стены до стены, лежал храбрый Хосе Педро Фернандо!

— Дед!..

Он был еще жив. Он жестом велел своему внуку наклониться.

— Каждый дед оставляет своему внуку наслед-

ство. Какое может, — прошептал он с трудом. — Я тоже оставляю тебе наследство — имя гуахиро Хосе. А это — стоящее имя!

— Ты не смеешь умирать! — воскликнул мальчик. — Кто же будет жить в доме с террасой?

Но старик уже не слышал своего внука.

На улице кричали мужчины. Громче всех шумел разгневанный сосед Санчо. Горе сделало его неистовым.

— Женщины! — кричал он. — Выносите свои платки. Нам нужен один, и пусть этот платок будет алым, как восходящее солнце.

— Подойдет и белый, — сумрачно говорил сосед Хуан. — Мы его окрасим кровью!

«Если бы ты видел, какой я слабый, ты ни за что не оставил бы мне свое доброе имя», — шептал мальчик. Он плакал. Но так тихо, чтобы его не мог услышать дед.

Трудно человеку без бороды

— Будешь сторожить океан, — проговорил командир. — В сумерках тебя сменит Коно.

Маленький повстанец Хосе не мог оторвать своих глаз от его бороды, жесткой, непокорной, золотистой. Что уж тут скрывать, он немного завидовал своему командиру!

— Будет исполнено, мой командир!

— Слушай Хосе! Даже в отряде ни одна живая душа не должна знать об этом приказе.

— Понятно, мой командир, — вздохнул Хосе, чуть дотронувшись указательным и средним пальцами до широкополой шляпы, свитой из волокон пальмы ярэй.

Хосе не стал спрашивать, как он один будет сторожить целый океан. Вспомнил: длинный Гаспар толь-

ко вчера на митинге говорил, что впереди — солдаты черного предателя Батисты, а позади — океан. Повстанцы между ними... По-видимому, командир отряда чуточку побаивался океана.

Хосе подумал: придется смотреть в оба.

Мальчик выпросил у повара связку бананов и горсточку риса. Ни за что ему не выдержать без еды длиннющий день!

Хосе ничего не стоило улизнуть из оливковой рощи, где расположился маленький отряд повстанцев. До берега рукой подать, по прямой не больше одной мили. Мальчик избегал открытых мест, в кустарнике ускорял шаг. Никто из живых не должен его увидеть.

Ему впервые в жизни приходилось выбирать наблюдательный пункт. Поэтому не столько боевой опыт, сколько природная сообразительность подсказала ему выбрать не мангровое дерево, корни которого омываются волнами прилива, а большой валун, возвышающийся чуть подальше. Он подумал: если взобраться на валун, то откроется вид на сорок миль вокруг. Наблюдай сколько хочешь!

Однако Хосе не стал карабкаться на самый верх. Часовой не должен выставлять себя, на это у мальчика хватило сообразительности.

Ничто не ускользнуло от его взора; Хосе еле удостоил вниманием крикливых чаек, суетившихся над волнами, но к акуле, совсем близко подплывшей к берегу, пригляделся. Что ей, проклятой, тут нужно?

Успокаивая себя, подумал: птицы совсем не опасны для дела восстания, акула тоже.

«Зря я выпросил рису, — сказал себе мальчик. — Часовому не положено разжигать костер. Значит, не видать мне вечерней каши. Придется начинать с ба-

нана и кончать им же. Один банан — на завтрак, второй — на обед. А рис останется пока про запас».

За три часа, пока Хосе стоял на своем посту, не произошло ничего особенного. Только одно судно проследовало далеко-далеко от берега. Вскоре и оно, оставив дымный след, ушло за горизонт. Снова Хосе остался один на один с океаном.

Если говорить откровенно, то маленький повстанец не был доволен той службой, какую он сейчас нес. «Тебе, — говорил он, — не доверяют сторожить океан ночью. Это все потому, что у тебя, Хосе, нет бороды...»

Ему, конечно, никогда не отрастить такую великолепную рыжую бороду, отливающую золотом, как у командира отряда. Ему бы хоть черную, самую обыкновенную!

С тех пор как сам Фидель поклялся в горах Сьерра-Маэстры, что бороду сбреет только в освобожденной Гаване, во всех отрядах установилась поголовная мода на бороду. Ее длина точнее всего говорила о стаже повстанца. Борода стала как бы символом верности революции. Бородачи-барбудосы — люди неподкупные.

Хосе собственными глазами видел, как взрослые бойцы давали клятву. Все — бывшие гуахиро, батраки. Потрясая оружием над головой, они давали слово друг другу и всем остальным отращивать бороды. Как здорово это выглядело! Клялись и обнимались!

Только один боец не дал клятву — это тот, кто не имел бороды... Хосе ушел плакать под пальму. Дереву всегда можно доверить тайну. Оно не подведет! И тут же Хосе по совету повара долго-долго тер подбородок сухим песком, чтобы быстрее отросла борода. Хоть какая-нибудь!

...Прошел еще один час, а то и два — за точность Хосе не мог поручиться, ведь у него нет часов.

Время проходит быстрее, когда человек поет. Это Хосе знает по собственному опыту.

Он всегда сам сочинял песни. На Кубе много песен, потому что каждый человек сам слагает нужную ему песню.

Я не боюсь тебя, седой океан!

Так родилась новая песня. Все его песни о море. И всегда они очень короткие. Короче их, наверно, нет во всем мире.

Хосе знал: когда у тебя самая короткая песня, то петь ее нужно чаще и повторять много-много раз... Тысячу раз, вот сколько! Тогда она становится длинной-предлинной, как самая настоящая.

Я не боюсь тебя, седой океан!
Ведь у меня карабин!

Так повторял он много-много раз подряд.

Океан всегда представлялся ему живым существом. Белую, как кокосовое молоко, пену, например, можно уподобить белой бороде океана, потому что океан — старый-престарый.

Вдруг Хосе захотелось пошутить. Подмигнув одним глазом, мальчик сказал: «Слушай, океан, хочешь, мы тебя тоже зачислим в отряд? Просто так, за здорово живешь! Нам подходят все барбудосы».

В полумиле от берега вдруг показалась лодка. Ее вынесла на свой гребень большая волна. Откуда взялась эта лодка?

Хосе спрятался за валуном. Не спуская с лодки настороженных глаз, он подумал: таких остроносых лодок у рыбаков не водится. Белая, легкая... Неужели упала с неба? Или вынырнула со дна морского? Может быть, командир имел в виду эту самую лодку, когда посылал Хосе к океану?

Мальчик прижал к себе карабин. В его руках оружие не сделало еще ни одного выстрела: не было случая. Неужели придется стрелять сейчас?

В лодке сидел человек без бороды. Значит, чужой! Как следует поступать часовому в подобных случаях?

Командир приказал сторожить океан, а вступать в перестрелку не велел. Первый трудный случай в жизни повстанца Хосе. Что же делать?

— Ты не уйдешь!.. — прошептал мальчик — Хосе сумеет постоять за революцию.

Если бы в эту минуту он не услышал за собой чьих-то шагов и не оглянулся, то, вероятнее всего, пустил бы оружие в ход: другого выхода он не видел. Из трудного положения его вывел длинный Гаспар, который показался со стороны оливковой рощи... «Наверно, ему поручено встретить лодку, — заключил постовой. — Пусть он этим и занимается».

Гаспар всегда выступает на митингах. «На него можно положиться, — подумал Хосе, — такой не подведет!»

Гаспар и человек без бороды, вышедший из лодки, обменялись рукопожатиями. Они стояли возле мангрового дерева, широко раскинувшего ветви и выставившего напоказ свои корни, — в каких-нибудь ста метрах от часового. И сказали-то они друг другу не больше десяти слов — так показалось Хосе. Потом лодка снова ушла в океан.

Хосе не на шутку обиделся на командира. Если он не доверяет ему, то зачем же посылает сторожить океан? «Не поверил мне потому, что у меня нет бороды, — насупившись, подумал Хосе. — Вот почему кроме меня он послал еще барбудоса Гаспара, чтобы тот встретил лодку...»



Теперь нет смысла сидеть за валуном... Хосе вышел на открытое место и уселся на песок. Пусть Гаспар увидит его. Гаспар не может не доложить командиру, что видел на берегу Хосе. И тогда в золотобородом командире заговорит совесть — в этом Хосе был уверен,— и ему станет стыдно за допущенную оплошность. Пусть командир знает, что у маленького человека тоже есть гордость!

С большим увлечением Хосе начал строить башню. Дело у него не клеилось. Башню нельзя строить из песка. Хосе об этом никогда не задумывался.

Он строил и тихонько напевал.

Я не боюсь тебя, седой океан!
Ведь у меня карабин!

Башня из песка не поднималась. Неудача огорчала Хосе: он всегда любил добиваться своего.

Хосе не обернулся даже тогда, когда за спиной услышал тяжелые шаги Гаспара. Он великолепно знал правило храбрых мужчин: при всех обстоятельствах сохранять хладнокровие. Суетится неправый, озирается трусливый. Вот почему Хосе не оглянулся даже в тот миг, когда тень длинного Гаспара упала на песок.

Но от него не ускользнуло странное движение Гаспара: подойдя к мальчику, Гаспар первым делом наступил своим левым ботинком на его карабин. Зачем бы это? Выдержка покинула мальчика, и он поднял глаза.

Посмотрел на Гаспара и удивился: еще никогда тот не бывал таким бледным; дышал он порывисто, точно загнанный конь.

Хосе подумал: «Чего он так испугался? — Но ничем не выдал своего удивления. Повстанцу не подобает быть любопытным. Это удел женщин! — Но зачем

человеку с чистой совестью втаптывать чужой карабин в песок? Тут что-то неладно...»

С этой минуты Хосе повел молчаливый бой. На пустынном берегу можно было надеяться только на самого себя.

— Почему ты, сорванец, сидишь здесь? — прошипел Гаспар, нарушая затянувшееся молчание.

Не следует торопиться с ответом.

— Тут хорошо ловится мелочь, — небрежным тоном сказал мальчик и подумал:

«Если бы Гаспар не был так напуган, он наверняка стал бы допытываться, где мои рыболовные снасти. Сейчас, пожалуй, ему не до того».

— Кто-нибудь знает, что ты на берегу?

Хосе призадумался. Сказать «да» — значит выдать тайну командира, а сказать «нет» — одно это слово может стоить жизни... Гаспар закопает карабин, а тело бросит акулам. И не останется никаких следов от повстанца Хосе!

— Меня послал повар, — сказал Хосе. — Он ждет меня с рыбой.

Гаспар криво усмехнулся:

— Врешь, голопузый!

— Пойди спроси у повара!.. Если хочешь подвести меня, заодно доложи и командиру. Тебе же известно, командир не слишком-то жалует тех, кто самовольно оставляет рощу...

Гаспар, метнув на мальчика быстрый взгляд, стал медленно распечатывать пачку сигарет. Когда он подносил к сигарете спичку, его руки дрожали мелкой дрожью. Теперь Хосе поверил, что его жизнь висит на волоске.

— Вот что, Хосе, — проговорил Гаспар, — закуривай и ты, так и быть!

— Я не умею курить, — пожаловался Хосе.
— Когда-нибудь надо начинать, — посоветовал Гаспар.
Хосе не стал упрямиться. Это сейчас ни к чему...
— Теперь я верю, что ты не выдашь меня командиру, — улыбнулся Хосе, закуривая. — Когда двое мужчин прикуривают от одной спички, они ни за что не станут врагами!
Эти слова принадлежали деду Хосе. Мальчик только повторил их.
Гаспар как будто не обратил внимания на то, что сказал мальчик.
— Теперь слушай меня, — заговорил он. — Видишь этот нож? Он скажет последнее слово, если ты проболтаешься!
Хосе с почтением взглянул на нож.
— Хороший нож, большой, как настоящий мачете, — похвалил мальчик. — Подарил бы его лучше мне...
— Я не умею шутить, малыш!
Хосе позволил себе рассердиться:
— Я тебе верю, а ты мне нет... Ты, Гаспар, громче всех кричишь на митингах, значит, ты самый верный человек в отряде... Про лодку я уже забыл и думать. Разве я не понимаю, что ты только исполнял приказ командира, встречая ее? При чем же тут Хосе.
По-видимому, Гаспар чуточку успокоился. Бросив на песок только что начатую пачку сигарет, он проворчал:
— Получай!
Хосе, следя глазами за удалявшейся фигурой Гаспара, подумал: «Если оглянется хоть разок, значит, он предатель».
Гаспар оглянулся.

В сумерках, как и обещал командир, пришла смена. Смуглый и курчавый Коно был самый низкорослый среди бородатых повстанцев.

— У тебя сигареты! — обрадовался он, заметив в руках Хосе пачку. — Отдай их мне!

— Нет, — заупрямился мальчик. — На посту не положено курить. Непременно себя выдашь.

Коно сделал отчаянную попытку силой овладеть пачкой, но у Хосе быстрые ноги. Отбежав на некоторое расстояние, мальчик громко засмеялся.

— Неужели во всем отряде не нашлось более видного повстанца? — спросил он. — Тебя же совестно показывать океану!

Коно только пригрозил ему кулаком.

Повар, раздобрившись, угостил мальчика кашей, даже не пожалел для него кружку сладкого кофе. К Хосе подсел Гаспар. «Теперь он не оставит меня в покое, ни за что не удастся предупредить командира»,— вздохнул мальчик.

Так и случилось. После ужина Гаспар прилег рядом с Хосе. «Боится, предатель!» — думалось мальчику.

Хосе не спал всю ночь, Гаспар тоже. Так они и лежали с открытыми глазами, не доверяя друг другу и боясь короткой южной ночи.

Утром, как и накануне, командир вызвал Хосе к себе. В самую последнюю минуту Гаспар, повернув мальчика лицом к себе, прошептал:

— Трижды помни о ноже!

Хосе понимающе кивнул головой. А войдя в штаб, который размещался в хижине, спокойно произнес:

— Доброе утро, мой командир!

— Доброе утро, Хосе! — заговорил командир. — Ночью Коно пришлось туго. Его спасло оружие. И смекалка. На рассвете я сам видел на песке следы ботинок... Что бы это значило? Ты вчера ничего особенного не заметил?

Хосе с облегчением подумал: «Хорошо, что я не отдал Коно сигарет. Это я спас ему жизнь!»

— Гаспар — предатель! — сказал Хосе. Теперь мальчик не любовался золотистой бородой командира, а смотрел в его черные как ночь, холодные глаза.

Командир, изменившись в лице, тихо спросил:

— Известно ли тебе, мой мальчик, какое тяжкое слово ты только что произнес?

— Да, мой командир!

— Рассказывай! Я тебя слушаю.

Выслушав рассказ Хосе о вчерашнем дне, командир неожиданно спросил:

— Умеешь ли ты стрелять, мой мальчик?

— Да, мой командир.

— Не дрогнет ли твоя рука, если придется целиться в грудь предателя?

— Нет, мой командир.

Бородатый человек порывисто поднялся и обнял Хосе.

— Тебе еще рано стрелять в человека, — сказал он с какой-то суровой лаской.— Приговор исполню я сам. А ты, Хосе, ступай на свой пост. И сторожи океан.

Хосе шел навстречу океану и с грустью думал: трудно человеку без бороды. Без нее нет настоящего солдатского счастья. Ему ничего от жизни не надо, кроме бороды, которую можно отращивать до самого освобождения Гаваны! Бороду, хоть какую-нибудь!

Маленький адъютант

— Дай!
— Не дам!
— Ну дай же!
— Сказано, нет!

Заядлый курильщик Коно с утра выпрашивает сигареты. Хотя бы одну. Но Хосе, то ли озоруя, то ли рассердившись на него, отказывался уступить сигарету, хотя бы одну.

А повар Клаудио, которого командир Максимо оставил за старшего, не вмешивался в их спор. «Два повстанца как-нибудь поладят, — думал он. — На то они и товарищи по оружию».

Часа три назад, когда еще трудно было отличить вершины гор от очертаний туч, двадцать три бородача-барбудоса во главе с командиром Максимо начали свой поход в долину.

В лагере, почти на самой круче, остались трое: Клаудио (потому что он повар), Коно (потому что накануне был ранен в кисть руки) и маленький Хосе.

— Три повстанца — большая сила! — сказал командир Максимо, строго-настрого приказав Клаудио, как старшему, всеми силами оборонять повстанческий лагерь, если кто-нибудь в их отсутствие вздумает его атаковать. А это всегда может случиться на войне. — В полдень мы вернемся, — добавил Максимо. — И к этому же времени сюда должен прибыть Фидель...

— Сам Фидель? — невольно переходя на шепот, спросил Клаудио.

— Да, сам Фидель... Не уступай высоту никому, даже самому апостолу...

— Есть не отдавать гору никому, даже самому апостолу!

Ни малыш Хосе, ни Коно, этот бородатый ребенок, не слышали приказа командира, — вот почему они были так беззаботны и завели спор из-за пустяков.

Когда со стороны моря подул сильный ветер и солнце разогнало туман, Клаудио немного успокоился. Видимость улучшилась, и намного уменьшилась опасность внезапного налета.

Повар сидел за безобразно искривленным стволом цейбы, обладающей магической силой — это же известно любой старушке, — внимательно следил за лощиной, откуда можно было ожидать нападения. В то же время он следил за котлом. В нем сегодня варился самый жирный за всю историю отряда суп.

Клаудио не опасался за тыл: все хребты Сьерра-Маэстры были в руках повстанцев.

Иногда он еще поглядывал на небо. И вовсе не потому, что ожидал появления апостола, а потому, что очень уж не нравились ему тучи. Если грянет турбанада — страшный ливень с безумными грозами, нечего ждать добра тем, кто живет под открытым небом.

Клаудио не вмешивался в перебранку, которую затеяли из-за сигареты Коно и Хосе, но внимательно следил за ее ходом. «Черт возьми! — думал он. — Мужчина должен постоять за себя, даже не пуская в ход кривой нож или винтовку... Из Хосе выйдет настоящий мужчина. Он, кроме того, сын отряда...»

— Дело, как я вижу, кончится тем, что я отберу у тебя всю пачку, — пригрозил Коно.

На всякий случай чуть отодвинувшись от него, Хосе продолжал его дразнить:

— Черта с два! У тебя же не действует одна рука!

Не так-то легко расстаться со своим имуществом, целой пачкой, в которой не хватало только двух сигарет...

Эта пачка — единственное его богатство, если, конечно, не считать залатанных штанишек, в которых он прибыл в отряд, и большой шляпы, добытой им в последнем бою. А все остальное: алюминиевая ложка, карабин, две мальчишеские проворные руки и смышленая, полная фантазий голова, — короче говоря, все, что он имел, принадлежало не ему самому, а революции.

— Ты что-то нынче не экономишь ни на мясе, ни на рисе, — обратился Хосе к повару. — Может быть, ты объяснишь, почему? Если, конечно, это не военная тайна.

— Никакой тайны тут, малыш, нет, — улыбнулся Клаудио. — Скоро, как мне сказал Максимо, к нам должен приехать Фидель.

— Сам Фидель?

— Именно.

— Сегодня же?

— Да, после полудня.

Мальчик завизжал от счастья. Фидель для него, как и для многих других в отряде, был не просто человеком, стоящим над ними, не просто вождем, творящим необыкновенную историю острова, но чем-то большим, чем-то близким, родным. Фидель для Хосе — это и дед, который был убит почти на его глазах, и отец, которого он не помнит, и брат, которого не было...

Хосе от радости заметался по лагерю. И тут он другими глазами увидел все, что происходило вокруг. Повар Клаудио, оказывается, успел начистить до блеска все свои котлы, а Коно, этот нерасторопный парень, впервые расчесал свою кудрявую бороду.

Но вместе с радостью пришли и огорчения.

— Вы сами успели подготовиться к встрече Фиделя, — пожаловался мальчик, — а я ведь совсем не го-

тов. Во-первых, у меня голое пузо. В таком виде хоть не попадайся команданте на глаза. А во-вторых, я не знаю ни одной команды, даже доложить не сумею при встрече.

Коно громко рассмеялся. Он никогда не умел сочувствовать людям, это известно всему отряду.

Но Клаудио сказал:

— Ты, малыш, забыл, что у тебя есть друзья. Стоит тебе сбегать к родничку, ополоснуть лицо, и ты сразу станешь обладателем самой настоящей гимнастерки, такой, как у всех.

— Вива! —закричал Хосе и стремглав бросился исполнять приказание.

Через минуту он уже стоял перед Клаудио с влажными волосами, с мокрым и счастливым лицом. Но тот не торопился выдать обещанное.

— А шею кто будет мыть?

Хосе безропотно подчинился и этому приказанию.

— Ты забыл помыть глаза. Фу какие черные! Никогда не моешь их, что ли?

Мальчик понял шутку.

— Они у меня с рождения такие, — ответил он весело. — Ни родниковая вода, ни соленые слезы — ничто их не берет. Хочешь — верь, хочешь — нет!

Трофейная гимнастерка оказалась чуть шире в плечах и чуть длиннее, чем полагалось по росту. Но разве счастье только в отлично подогнанной одежде?

Хосе обрадовался куда больше, чем принц, которому подарили белого слона. Что и говорить, он впервые в своей жизни имел одежду, да еще какую — самую доподлинную гимнастерку. Он стал теперь похож на всех других повстанцев. А это что-нибудь да стоит!

— Слушай, Коно, — сказал мальчик. — Если ты меня научишь кое-каким командам, я тебе отдам все сигареты до единой. Мне они все равно ни к чему...

— Команд так много, а сигарет так мало, — стал торговаться Коно.

— Я же тебе отдаю все, что имею! — удивился Хосе.

— Ну ладно, — согласился Коно, как бы уступая. — Пока отдай мне все, что имеешь, а потом, когда добудешь еще, также отдашь их мне. Сам знаешь, мне некуда торопиться, я подожду.

Коно, закурив, в самом деле успокоился. Всем своим видом он показывал, что ему некуда торопиться...

— Может, начнем, а?

Помолчав немного, Коно с усмешкой взглянул на нетерпеливого мальчика.

— Что ж, начнем, — сказал он снисходительно, докурив одну и зажигая другую сигарету. — Итак, смирно! Унос. Дос. Трес. Каутро!

Хосе сделал четыре шага. Но в этот самый миг Клаудио скомандовал с неожиданной строгостью:

— Прекратить! В укрытие! Мне что-то не нравится человек, появившийся на тропинке.

Они залегли за деревом. У цейбы не только искривленный ствол, но и перепутанные сучья. За ними можно укрыться и целому взводу.

— Семь дьяволов, это лазутчик Батисты! — сказал Коно, настороженно следя за незнакомцем.

— А может, он вовсе не лазутчик, а сам Фидель? — подал голос Хосе. Ему так не терпелось встретиться с ним!

— Подпустим ближе, а там видно будет, — принял решение Клаудио.

Никто из трех никогда не видел живого Фиделя. Положение, конечно, незавидное. Оставалось одно — незаметно следить за человеком, который уверенно приближался к лагерю.

— Фидель! — громко прошептал Хосе, различив бороду, и стремглав выбежал из-за укрытия.

Клаудио не успел его остановить. Хосе бежал навстречу незнакомцу не чувствуя ног. И когда расстояние между ними сократилось до пяти-шести метров, мальчик остановился и срывающимся голосом крикнул:

— Здравствуйте, Фидель! Я повстанец Хосе!

Бородач ответил с улыбкой:

— Я рад познакомиться с тобой, Хосе. Но я не Фидель. Я всего-навсего его брат, Рауль. Ваш лагерь тут, за цейбой?

— Да!

Бородач, назвавшийся Раулем, пошел дальше, в лагерь, где его встретил Клаудио. А Хосе остался на тропинке. Он совсем не огорчился: он готов ждать Фиделя, если это нужно, до самой ночи.

Показался второй бородач.

— Здравствуй, мой юный друг, — сказал он, потрепав волосы мальчика. — Для всех, кто меня знает, я Антонио Нуньес Хименес. А Фидель следует за мной.

Наконец третий бородач, высокий, как королевская пальма, остановился возле Хосе.

— Я приветствую тебя, мой мальчик! — сказал он и слегка похлопал его по плечу. — Значит, ты и есть повстанец Хосе?

И, неожиданно подняв мальчика на руки, поцеловал его в левую щеку чуть ниже уха.

Фидель пошел в лагерь, а Хосе все еще стоял на тропинке, боясь шелохнуться от счастья. «Сам Фидель поцеловал меня!»

В порыве безграничной радости и благодарности он сорвал с дерева листок и бережно налепил его на левую щеку чуть ниже уха.

Он очнулся, заслышав звук шагов. Хосе живо обернулся и застыл от удивления: к нему приближался безбородый! А юный повстанец знал твердо, что в горах можно довериться только барбудос.

— Ни с места! — крикнул Хосе, подняв карабин к плечу. — Ну!

— Здравствуй, мальчик!

— Я не мальчик, я повстанец! — сказал Хосе.

— Здравствуй, повстанец! — улыбнулся человек. — Ты пропустишь меня в лагерь?

— Ты кто будешь?

— Я тоже повстанец.

— А почему у тебя нет бороды?

— Потому что я женщина. Ты этим недоволен?

И женщина весело рассмеялась. Что и говорить, это не слишком-то понравилось Хосе. Он сердито сказал:

— Восстание вовсе не женское дело...

Вскоре появился командир Максимо. Отряд вернулся не с пустыми руками: бойцы сложили в кучу тринадцать новеньких автоматов и два миномета. Фидель внимательно осмотрел трофеи и остался доволен.

Позже все командиры, включая и Максимо, надолго уединились в хижину. Это был военный совет, как объяснил Клаудио.

Солнце закатилось. К большому огорчению Клаудио, суп давно перекипел. Только в сумерках приступили к ужину. Жирный суп всем понравился. Какая

жалость, Хосе не удалось похлебать из одного котелка с Фиделем. Этому помешала женщина, которая пришла вместе с ними; она без стеснения села рядом с Фиделем и без всякой видимой причины смеялась, мешая ему спокойно есть. «Хоть бы помолчала за едой!» — вздохнул мальчик.

А то, что Хосе не похлебал из одного котелка с Фиделем, — не беда! Посидеть вместе с ним — это тоже что-нибудь значит!

После ужина военный совет продолжал свою работу. Хосе не знал, о чем они, командиры, вели разговор в хижине. По правде говоря, это мало его интересовало. Позже, не дождавшись конца военного совета, Хосе прилег рядом с Клаудио. Конечно, вовсе не потому, что ему хотелось спать. Он неотрывно смотрел на единственное окно хижины, там светился огонек. Все барбудос, кроме тех, кто охранял лагерь, заснули мертвым сном. Это правильно: им с утра снова воевать.

Один Хосе бодрствовал. В конце концов ему повезло: огонек потух, и командиры начали расходиться. Первым вышел Рауль; он был среднего роста, ниже всех, поэтому узнать его нетрудно. «Вот счастливчик! — подумал Хосе с завистью. — Никто бы не отказался назвать себя братом Фиделя».

Рауль, Антонио, Максимо и женщина устроились на ночлег возле очага, рядом с деревом цейбы, — сейчас, в темноте, оно походило на опрокинувшегося на спину осла.

Хосе в душе похвалил и своего командира. «Максимо уступил Фиделю свою хижину, — счастливо улыбался он. — Я бы сделал то же самое, доведись мне стать командиром отряда. Больше того, я написал бы на дверях хижины: «Этот дом навсегда принадлежит тебе, Фидель...»

— Ну, пора! — проговорил мальчик, поднимаясь.

— Ты куда собрался, Хосе? — сонным голосом спросил Клаудио.

— К Фиделю...

— Он, наверное, уже спит.

— Пусть. Я буду охранять его всю ночь. Он там один, как сирота.

Хосе не привыкать стоять на часах, ведь ему уже довелось сторожить целый океан. И он отлично знал, что полагается делать человеку, стоящему на посту. Чтобы не заснуть, Хосе делал четыре шага в одну сторону и четыре шага в другую. При этом он негромко подбадривал себя словами команды:

— Унос. Дос. Трес. Каутро!

И снова слышался его голос:

— Унос. Дос. Трес. Каутро!..

Ему интересно было следить за звездами: так легче коротать ночь. Они гасли на глазах одна за другой, как факелы на карнавалах. Вот погасла последняя звезда, и из-за соседней горы вынырнуло солнце.

И тут, на виду у солнца, Хосе пришлось выдержать первое испытание. Он не пропустил командира Рауля к своему брату.

— К нему никак нельзя, — сказал Хосе. — Он засиделся допоздна, пусть немного поспит.

— А ты кто такой? — удивился командир Рауль.

— Я адъютант Фиделя...

Командир улыбнулся и отступил. Он пошел к родничку, чтобы умыться. «Я правильно сделал, — сказал Хосе в свое оправдание. — В самом деле, пусть поспит».

Вместе с солнцем поднялся и великан Антонио. Его тоже остановил Хосе.

— Что же, подождем, — согласился Антонио, закуривая. — Каждому нужен отдых, ты прав, мой юный друг.

Женщина оказалась куда настойчивее: ведь женщины никогда не принимают доброго совета. Это известно из рассказов взрослых, — сам он не помнит ни матери, ни бабушки. Во всяком случае, ухо с женщинами надо держать востро.

— Мне необходимо пройти к нему, — заявила женщина.

— Нет, не пройдешь, — заупрямился Хосе.

— Хорошо, — сказала она. — Но объясни мне, по крайней мере, кто же ты такой?

Командир Рауль, расчесывая свои волосы, подсказал ей:

— Он адъютант команданте.

Рауль и Антонио с улыбкой прислушивались к тому, как Хосе и женщина тихонько бранились между собою.

— Кто же тебя назначил адъютантом? — спросила женщина.

— Я сам себя назначил.

— Ах, вот как, — засмеялась она. — Скажи, пожалуйста, адъютант, что это у тебя за листочек под ухом?

Хосе густо покраснел. Вот привязалась!

— В это место меня поцеловал Фидель...

— Ну? — воскликнула женщина. — Дай-ка я тебя расцелую! Ты этого сто́ишь.

Хосе, берясь за карабин, строго сказал:

— Нам не положено целоваться с женщинами. Не приближайся!

— Пропусти ее, Хосе! — вмешался Рауль. — Она секретарь Фиделя.



Хосе заколебался.

— Кто важнее: секретарь или адъютант? — спросил он.

— Это в конце концов одно и то же, — улыбнулся Антонио.

— Ну, проходи.

Фидель, выйдя из хижины, сначала взглянул на солнце, потом на часы.

— Что же, бородачи, не разбудили меня? — нахмурился он. — И сами, вижу, проспали.

— Мы хотели тебя разбудить, но этому помешал твой адъютант Хосе, — сказал Рауль, скрывая улыбку под усами.

— Мне хотелось, чтобы ты немного отдохнул, — пролепетал Хосе.

— Спасибо! — Фидель похлопал его по плечу. — Теперь ты свободен! А нам пора уходить.

Услышав это, Хосе побледнел. С его губ сорвалось что-то похожее на стон. Низко опустив голову, он бросился бежать. Добежав до ручья, сорвал со щеки листочек цейбы и с ожесточением начал мыть лицо.

— Что с ним? — удивился Фидель.

— Ты обидел его, — сказала женщина. — Он сполоснул щеку, которую ты поцеловал...

Фидель порывисто рванулся к мальчику, и все, командиры и бойцы, последовали за ним.

— Ты хочешь идти с нами, Хосе? — спросил Фидель дрогнувшим голосом.

Мальчик кивнул головой, все еще не поворачивая к нему своего мокрого лица.

— Встань и посмотри на нас!

Хосе нехотя повернулся и поднял глаза.

— Известно ли тебе, Хосе, что у меня самая трудная должность на всем острове?

— Да.

— Думал ли ты о том, что мне каждый день приходится быть под пулями?

— Да.

— Ну ладно, собирайся. Пойдешь с нами.

Хосе растерянно взглянул на взрослых, все еще не веря своему счастью. Но, увидев грустные глаза Клаудио, виновато отвел свои. Он понял, что навсегда прощается с Максимо, Клаудио, Коно и со всеми товарищами, ему стало трудно дышать. Но Хосе переборол себя.

— Я уже собрался, — сказал он.

Первым по тропке пошел Фидель, за ним Рауль и Антонио. Женщина шла, тихонько напевая:

А деланте, кубанос!..[1]

Отряд бородачей молчал, с какой-то мужской, только им понятной грустью провожая уходящих на соседнюю гору, а может быть, и намного дальше...

Тропа мужчин

Так они и шли гуськом: впереди Фидель, за ним Рауль и великан Антонио. Шествие замыкали женщина и Хосе.

Что тут скрывать, Хосе вовсе не нравилось плестись позади всех, да еще в обществе женщины, — наверно, только ради приличия она обрядилась в повстанческую форму...

Его место — место адъютанта — подле команданте Фиделя. И нигде больше!

[1] Вперед, кубинцы!..

Он все надеялся, что команданте непременно вспомнит о нем и при всех укажет, где должен идти Хосе. Если бы мальчик не боялся непродуманным шагом в первый же день огорчить команданте, он давным-давно занял бы в этом строю надлежащее адъютанту место. Успокаивая себя, он думал: «Недолго осталось мне ждать! Не вечно же плестись позади всех! Все утрясется! Непременно!»

Ободренный этой мыслью, он тихонько запел. Возникла новая песня:

Адъютанты не предают,
Адъютанты не умирают...

Услышав его бормотание, женщина замедлила шаг. Мальчик заметил это. Он подозрительно покосился на женщину и перестал мурлыкать. Недоставало еще, чтобы она заговорила с ним! Вот если бы сам Фидель вспомнил о нем или хотя бы его брат командир Рауль подозвал к себе, вот это было бы здорово!

Так из-за женщины и не суждено было родиться новой песне.

От нечего делать Хосе стал озираться по сторонам. Ему никогда не приходилось бывать в этих местах. Тропинка, по которой они двигались, была, судя по всему, удивительно сообразительная. Она будто знала все овраги, все пропасти и все самые удобные для восхождения склоны гор. Она не взбиралась на крутизны, не заводила в густые кустарники, где могла оказаться засада, и далеко обходила осыпавшиеся под ногами хрупкие породы известняка...

Фидель шел крупным мужским шагом, чуть покачиваясь. Хосе никак не мог приноровиться к нему. Порою приходилось бежать, чтобы не отстать от других.

Идти было трудно, что и говорить, но Хосе скорее упадет от усталости замертво, чем попросит отдыха.

Он понимал, что с этого дня он вышел на мужскую тропу. Раз и навсегда.

Его душа ликовала. Он не прочь был встретиться с кем-нибудь из земляков, хотя бы с молчаливым Хуаном или, например, — куда ни шло! — с боязливым соседом Санчо. Надо полагать, ни тот, ни другой ни за что не поверили бы своим глазам, увидев его. Кто бы мог подумать, что Хосе за каких-нибудь три месяца станет адъютантом самого Фиделя! А мальчишки сентрали — ну, те просто лопнули бы от зависти! «А если бы с глазу на глаз встретился на узкой горной тропке с сеньором Равело, управляющим всей сентралью? — подумал мальчик. — С тем самым, кто прикончил деда? Что бы ты сделал с ним? Как бы поступил?» На этот вопрос он не успел себе ответить.

— Авион! Самолет! — внезапно раздался повелительный голос Фиделя. — Ложись!

Хосе распластался на земле. Рядом с ним опустилась женщина. Рауль и Антонио тоже беспрекословно растянулись во весь рост. Только Фидель остался на ногах, напряженно вглядываясь в небо.

«Дело, выходит, не шуточное, — сообразил Хосе. — Зря бы Фидель не стал объявлять тревогу!..»

Самолет вынырнул из-за соседней вершины. Он стал кружить над горой, назойливый, противный, гундосый.

— Рыщет, дьявол! — проворчал Антонио. — Притом безнаказанно...

— Даже один-единственный пулемет сослужил бы нам хорошую службу, — вздохнул Рауль.

Фидель продолжал глядеть в небо, широко расставив свои ноги, обутые в зашнурованные башмаки. Как

хотелось Хосе подойти к нему и встать рядом, так же широко расставив ноги! Мужчине не подобает ложиться перед лицом врага. Мальчик пуще прежнего возгордился своим командиром: такого не согнешь! Фидель не из тех, кто склоняет голову перед противником, пусть этот противник даже сидит на военном истребителе!

И внезапно где-то совсем недалеко раздался оглушительный взрыв, потом второй. Третья бомба упала почти рядом...

Хосе впервые испытал, что такое бомбежка. Взрыв оглушил его. Мальчик съежился, уткнулся лицом в жесткую и сухую землю. Еще бы минута — и он, пожалуй, заревел бы во весь голос. Но тут, к счастью, вспомнил, что рядом с ним женщина. Перед ней, конечно, не дело показывать страх. Мужчины не ревут.

Хосе чуть повернул голову, краешком глаза взглянул на удивительную женщину, которая даже под бомбами крепко держала себя в руках. Она безмятежно лежала на спине, следила за истребителем и улыбалась.

Команданте лежал впереди, рядом со своим братом, и о чем-то с ним разговаривал.

Успокоившись, Хосе начал рассуждать так: «Даже лежащий человек не перестает быть храбрецом! В самом деле, что без толку рисковать собою! Ей-ей, неразумно стоять во весь рост, когда в тебя швыряют бомбами...»

Не успел самолет скрыться за соседней вершиной, как все снова были на ногах. Фидель весело смеялся. А потом, внимательно оглядев всех своих спутников, спросил Хосе:

— Как дела, адъютант? Жив?

— Жив! — громко доложил Хосе.

— А у Челии, конечно, как всегда, полный порядок?

— Так точно, компаньеро Фидель, — улыбнулась женщина.

Хосе — смышленый человек. Он сразу догадался, кто важнее для Фиделя: он или Челия. Ведь команданте сначала поговорил с ним, с Хосе, и только потом вспомнил о женщине.

Вскоре самолет настиг их снова. На этот раз повстанцев надежно укрывала отвесная скала. Снова Фидель, приказав всем ложиться, остался стоять на ногах: кому-то надо было следить за противником...

— Летчик охотится за нашим штабом, это яснее ясного, — проговорил команданте. — Однако нас не так-то легко обнаружить с воздуха, будьте уверены!

Вражеский авион беспорядочно сбросил бомбы, а выходя из пике, открыл огонь из хвостовых пулеметов.

Хосе, как и подобает дисциплинированному солдату, последовал примеру других: лежал на земле. Однако его все время мучила совесть: «Подобает ли адъютанту валяться в надежном укрытии, когда командир рискует своей жизнью? Нет, не дело!» — ответил он сам себе.

Хосе быстро поднялся и, сделав несколько больших шагов, вплотную подошел к Фиделю. Его место тут, рядом с команданте.

— Хосе, в укрытие! — вдруг вскрикнула Челия.

Мальчик даже не удостоил ее вниманием. Он исполнял свой долг. А когда человек находится на посту, он слушается только голоса своего сердца.

— Тебя убьют, Хосе!

Мальчик начинал сердиться на Челию.

Фидель, оглянувшись, молча посмотрел на Хосе.



— Этот мальчик будет твоей верной тенью, Фидель, — сказал Рауль.

«Это хорошо или плохо — быть тенью?» — подумал Хосе и поочередно посмотрел всем в глаза: и Фиделю, и Раулю, и Атонио, даже женщине, пытаясь уловить тайный смысл того, что было высказано Раулем. Но люди смотрели на него строго и внимательно, будто увидели его впервые.

Хосе окончательно успокоился. «Раз Фидель не приказал мне снова ложиться, значит, полный порядок!» — обрадованно решил он.

По-видимому, командир Рауль сказал что-то хорошее.

Мальчик был ему благодарен.

Обида

— Мы дома! — внезапно воскликнула Челия.

Хосе, бросив взгляд вперед, недоуменно спросил себя: где же хижина?

Сколько он ни смотрел, нигде не было никаких следов жилья: ни дыма, взвивающегося над очагом, ни собак, неизменных друзей человека, ни засеянного поля. Нигде ничего...

Нет, Челия не шутила: повстанческий штаб, обосновавшийся в большой пещере, был так удачно замаскирован, что непосвященный человек мог пройти мимо, не обратив внимания на еле заметный вход в просторную катакомбу.

Здесь Фиделя ждали. Как только он показался, все поднялись ему навстречу. Военные отдали честь, а крестьяне, одетые кто во что горазд, не снимая шляп, дружно приветствовали:

— Буэнос диас, Фидель! Здравствуй, Фидель!

Рауль и Антонио, распрощавшись со всеми, пошли дальше — наверно, в свои отряды. У Челии были тоже какие-то обязанности: она сразу села писать. Только у Хосе не оказалось никаких обязанностей: будто все в одно мгновение забыли о его существовании.

Мальчик растерялся. Он разглядывал военные карты, висевшие повсюду, с любопытством уставился на радиста, принимавшего донесение.

Подошел крестьянин с одним глазом, видимо, самый смелый среди них, громко проговорил:

— Ты бы, Фидель, помог нам достать трактор. Без него мы как без рук.

Фидель улыбнулся:

— Ты со мною разговариваешь так, будто не сеньор Батиста, человек-чудовище, сидит в Гаване, а я. Твоя просьба справедлива, но пока я бессилен. Неужели не видишь сам, что мы все еще не можем отбросить врага, который держит нас в этих горах и не пускает в долину?

Одноглазый был упрямым человеком.

— Кто же, кроме тебя, одолеет врага? — спросил он торжественно и сурово. — Скоро сам будешь требовать у нас хлеба, так где же мы его возьмем, если не станем пахать и сеять?

Хосе думал, что командующий не на шутку рассердился. В самом деле, где же он возьмет в горах трактор? Не сделает же сам! Но Фидель добродушно похлопал крестьянина по плечу.

— Я обсуждал с товарищами кое-какие вещи, в том числе вопрос о помощи крестьянам Сьерра-Маэстры. Я полон нетерпения, когда думаю о тракторах, о домах, которые надо построить для крестьян; я ста-

новлюсь нетерпелив, когда думаю о школьных городках, которые мы хотим построить для детей...

Хосе сосредоточенно вслушивался в каждое слово командира.

— Наши рубашки не раз еще пропитаются потом, — продолжал Фидель. — Будем трудиться двадцать четыре часа в сутки, без отдыха, без всяких поблажек...

И, как бы перебивая себя, он громко подозвал рослого бородача, увешанного гранатами и пистолетами.

— Аугусто, слушай меня внимательно: Хосе будет жить с нами. Приюти его у себя.

— Пойдем, компаньеро Хосе, — сказал Аугусто, увлекая за собой мальчика. — Я вожу команданте на машине и большой специалист по этой части, можешь верить моему слову. Вот почему я сплю возле машины. Места тут сколько хочешь. И воздуха достаточно. Не то что в пещере...

Парень оказался словоохотливым; не переставая болтать, он достал из багажника открытую консервную банку и протянул Хосе:

— Компаньеро Хосе, есть хочешь?

— Не откажусь.

— Пища не ахти какая, но заморить червячка можно, — болтал Аугусто, заправляя машину горючим.

Позавтракав, Хосе взялся усердно помогать Аугусто. Не ожидая его приказаний, он протер тряпкой смотровое стекло, а потом — всю машину.

Вскоре Челия отослала шофера с каким-то поручением. Теперь никто не мешал Хосе следить за тем, что происходит в штабе. По-прежнему приходили и уходили люди. После обеда все больше стало появляться вооруженных людей.

Какой-то деревенский паренек приволок в штаб целый мешок свежей рыбы. И вот тут-то Фидель вспомнил о своем адъютанте.

— Вот тебе, Хосе, провиант, сделай так, чтобы все были сыты. Нас одиннадцать человек. Понял?

— Понял, мой командир.

В мешке оказалось пятнадцать крупных рыбин. Но как же разделить их на одиннадцать человек. Наконец мудро решил:

— Всем по рыбке, а все, что останется, команданте. Он самый главный, и пусть ему больше всех достанется. Так-то оно лучше будет!

Однако Аугусто, подоспевший к дележке, не одобрил арифметику Хосе.

— У нас, у барбудос, порядок иной, — засмеялся он. — Не делим ничего, а все, что есть, сбрасываем в один котел... Давай чистить рыбу, адъютант!

Обед получился отличный.

Наутро Аугусто сообщил, что предстоит наступление.

— Но об этом будем молчать, компаньеро Хосе, — сказал Аугусто, барабаня пальцем по своим губам и подмигивая.

Наблюдая суетливую жизнь штаба, мальчик убедился, что действительно надвигаются важные события. Самому ему в этот день пришлось два раза сходить в отряд Антонио, вместе с Аугусто принять от каких-то рабочих партию оружия...

В ночь перед наступлением команданте был задумчив. Он сидел возле костра хмурый и молчаливый. В такое время надо оставить человека наедине с самим собою, не мешать ему. Хосе так и сделал, ничем не напоминал о своем присутствии. А вот женщина посту-

пила иначе: она устроилась рядом с Фиделем и стала напевать веселые мотивчики.

Разве Фиделю в такую минуту хотелось слушать пачангу? Нет, ему в эту минуту никак не хотелось думать о пляске — в этом Хосе был уверен.

А на рассвете, когда весь штаб, кроме дежурных и караульных, спал, Фидель ушел на передовые позиции со своим секретарем, Челией. А своего адъютанта, Хосе, не взял.

Хосе не простил командующему эту обиду...

Он тогда еще не знал, что Фидель боялся рисковать жизнью своего маленького адъютанта. Он не знал, что женщина может быть настоящим другом и отличным солдатом... В этом возрасте еще много чего не знаешь...

Ночью

— Ты, Аугусто, должен научить меня водить машину, — попросил Хосе.

С утра, как только Фидель ушел на передовые позиции и где-то вдали все чаще стали разрываться выпущенные из «базук» ракеты, Аугусто потерял душевный покой. Он метался из стороны в сторону: то забегал в пещеру к радисту за последними известиями с места боев, то возвращался к своему «джипу», который был в полной боевой готовности. Будто Аугусто ежеминутно ждал и никак не мог дождаться приказа, чтобы немедленно мчаться туда, в долину, где сейчас руководил боем Фидель. Аугусто говорил невпопад, ссорился из-за пустяков.

— Не приставай, компаньеро Хосе, — сумрачно произнес он, чтобы отвязаться от назойливого мальчишки.

— Аугусто, научи!

— Заткнись, компаньеро Хосе!

Но шофер еще не представлял себе, на что способен новый адъютант. Хосе не такой человек, чтобы легко отказаться от задуманного... А в его голове в это утро возник отчаянный план, для исполнения которого нужно было знать, как управлять рулем.

— Я не прошу о многом, ты только покажи, как заводится твой «джип»...

— Не испытывай моего терпения, компаньеро Хосе! — вконец рассердился Аугусто. — Нрав мой никудышный. И самое главное — боюсь своей силы. Ничего так не боюсь, как своей силы.

— И все-таки сделаешь то, о чем я прошу!

Мальчик стоял на своем. Он был упрям, как его дед.

— Компаньеро Хосе, послушай: твои ноги еще не доросли до педали, а в руках твоих нет той силы, которая нужна, чтобы вести машину по этим хребтам да по оврагам.

— Ты смеешься, компаньеро Аугусто?

Но шофер снова убежал к радисту.

— Наши продвинулись на два километра, вива! — громко закричал Аугусто еще издали.

А через полчаса, узнав о продвижении вражеских танков, сумрачно задымил сигарой, не отвечая ни на какие вопросы. Конечно, лучше с ним не связываться.

Аугусто сидел хмурый и недоступный, пока его внимание не отвлекли частые артиллерийские залпы; они то приближались, то отдалялись. Наконец Аугусто не выдержал, резко вскочил на ноги.

— И как это Фидель не взял меня с собою! — вскричал он, всей пятерней вцепившись в свою роскошную бороду. — Будь я с ним, ничего бы не случилось!

А без меня — не ручаюсь! И никто не может поручиться!

Хосе думал так же. С ним, с адъютантом, Фидель тоже мог спокойно пойти на любые испытания.

Через час от Фиделя пришло новое известие, и Аугусто начал приплясывать, точно во время карнавала:

— Мы захватили высоту 1316! Понимаешь, компаньеро Хосе, не вернули, а захватили! В этом все дело...

Воспользовавшись добрым расположением духа Аугусто, Хосе снова начал осаду:

— Ты, Аугусто, не называй меня больше своим компаньеро!

— Почему же? — насторожился шофер.

— Если бы я был настоящим твоим товарищем, разве ты не научил бы меня водить машину? Мало ли что может случиться в бою! Допусти на минуту, что мы оба несемся на «джипе». Вдруг тебя ранили, что же тогда с нами будет? Со мною, с машиной и, главное, с тобой?

— Не допускаю, чтобы в меня могла попасть пуля.

— А ты представь себе...

— Не представляю!

Немного помолчав, Хосе сказал:

— Ты, Аугусто, пожалуйста, не думай, что мне хочется, чтобы тебя ранили. Это случается само собой, в самое неподходящее время. Мне об этом наш повар компаньеро Клаудио говорил. Он человек бывалый.

— Ты, компаньеро Хосе, хочешь накликать беду?

— Нет, Аугусто. Я только объясняю тебе, как обстоит дело.

Если бы там, на поле боя, Фидель со своими бородачами не отвоевал еще две высоты, не менее важные, то вряд ли Хосе удалось бы сесть за руль. После такой

внушительной победы суровый Аугусто сразу подобрел.

— Ну ладно, я тебя кое-чему научу, — сказал он, сдаваясь. — Но не думай, что я учу тебя из страха, что меня ранят, а ты будешь спасать меня на моей же собственной машине. Со мною, компаньеро Хосе, ничего подобного не случится.

Мальчик промолчал. Теперь, когда согласие с таким трудом было получено, он боялся каким-нибудь неуместным словом испортить все дело.

— Садись рядом, — приказал Аугусто. — Сначала, естественно, включаешь мотор... Кстати, рулевой механизм состоит из двойного ролика и из глобоидального червяка...

— Ты не забивай мне голову роликами и червяками, покажи только, как трогаться с места, как рулить, нажимать на скорость и, конечно, тормозить, — взмолился Хосе.

— Помалкивай, компаньеро Хосе! Всему свой черед... Самое главное для начинающего — это уметь тормозить. На этой машине два тормоза. Рабочий тормоз с гидравлическим приводом от педали — для замедления хода и остановки автомобиля, а ручной рычаг — для удержания автомобиля на месте. Смотри, как это делается...

Вскоре Хосе уже отвоевал себе руль и под неослабным наблюдением Аугусто включил скорость. Первый раз в жизни! Самостоятельно!

...Командующий не возвращался в штаб целых три дня: шел решающий бой. И все это время в тылу маленький адъютант усердно учился искусству вождения машины.

— А ты, оказывается, упорный! — восхищенно восклицал Аугусто, радуясь успехам своего ученика.—

Пожалуй, теперь, компаньеро Хосе, тебе можно доверить руль!

Только этого Хосе и ждал. В ту же ночь он решил осуществить свой дерзкий план.

⁂

Как обычно, ближе к полуночи Аугусто становился на пост по охране штаба: таково было железное расписание в маленьком гарнизоне.

На этот раз Хосе не проводил своего друга, как делал обычно. Дождавшись, когда он уйдет, Хосе осторожно оглянулся. Тишина. Он опоясал себя патронташем и крадучись стал пробираться из лагеря в сторону противника.

Путь ему знаком. Вот по этому пологому склону маленький адъютант спускался в отряд Антонио накануне наступления.

«Самое главное для начинающего, — вспомнил он науку Аугусто, — это уметь тормозить».

У Хосе был свой план. Он задумал незаметно проползти через ущелье, занимаемое отрядом Антонио, и выйти на большую дорогу, по которой то и дело снуют машины противника. Не может же счастье ему не улыбнуться!

В Черном ущелье Хосе долго лежал, прислушиваясь. Оба склона его занимали бородачи Антонио. Надо проползти черепахой, только в этом случае можно поручиться, что пройдешь мимо зорких часовых.

Мальчик так и сделал: полз и полз, не поднимая головы.

«Кажется, миновал своих, — вздохнул он, оглядываясь. — Ущелье позади».

Теперь на расстоянии какой-нибудь мили впереди

открылась дорога. «Вот когда приведу машину из стана врага, Фидель сделает меня своим незаменимым другом, — размечтался Хосе. — Он поверит, что я храбрый. Смелыми все восхищаются. И им доверяют свою дружбу. Не Челия, а я стану самым верным другом Фиделя!»

Хосе крался, стараясь остаться назамеченным. Когда тучи закрывали луну, он делал быстрые броски вперед и все время оглядывался на склон далекой горы, где остался Аугусто. Увести вражескую машину — это мало, важно вернуться на ней в штаб. Иначе какой смысл рисковать собою?..

Внезапно раздался металлический звон: дорога была совсем рядом. Хосе услышал разговор:

— Хватит, Конрадо, на сегодня.

— Нет, не хватит, Роландо.

Шоферы чинили машину.

— Остается только заправить машину, и делу конец!

— Брось, Конрадо, — запротестовал второй. — Успеем заправить утром.

Хосе лежал и волновался: «Неужели из-за ленивого Роландо машина останется незаправленной?»

— Ну, залил? — спросил через некоторое время Конрадо, глухо кашляя.

— Успеется!

— Вдруг приказ сниматься?

— Устал...

— Слышишь, Роландо?

— Я уже сплю.

Хосе вспомнил наказы Аугусто: только при нейтральном положении рычага может сработать стартер...

Прошло, вероятно, не меньше часа с тех пор, как два солдата закончили работу и, видимо, уснули.

Безмолвная тишина легла на долину. Теперь можно рискнуть!

Крадучись, Хосе сделал шаг, другой, третий... Остановился, оглянулся вокруг и снова кошачьим шагом стал пробираться вперед. Вот уж никогда не думал, как трудно идти бесшумным шагом!

Стой! Остановись, Хосе! Эй ты, компаньеро Хосе, оглянись еще разок! Позади луна, высоченная гора, в утробе которой штаб повстанцев, и лунные тени: от королевской пальмы, от бесконечных камней, больших и малых.

Мальчик был уже возле машины, а через секунду — за рулем. Только бы сработал стартер!.. В темноте Хосе стал лихорадочно шарить руками... В это мгновение кто-то стиснул его руки.

— Стой, сеньор, не торопись!

Хосе оказался между двумя здоровенными солдатами.

— Кто ты такой?

Хосе промолчал.

— Куда решил увести машину?

Что же можно ответить на этот вопрос?

— Конрадо, веди его в штаб.

У Хосе голова шла кругом: как держать себя в плену? Ясно одно: в плену надо молчать.

Его привели в рощу. Там горел костер. Возле костра мальчик вдруг увидел Антонио, великана, командира отряда.

— Ба! — сказал Антонио. — Как ты, Хосе, оказался тут?

Хосе не успел ответить. За него ответил Конрадо:

— Этот мальчишка пытался выкрасть нашу трофейную машину.

— Ба! — удивился великан Антонио. — Зачем тебе, Хосе, понадобилась машина?

Мальчик растерялся пуще прежнего.

В самом деле, что же получается? Неужели он пытался увести машину у своих же?

— Я хотел достать трофейную машину для Фиделя, — пролепетал Хосе. — Не понимаю, как же вы оказались на этой дороге? Вы же стояли в Черном ущелье.

— Ха! — усмехнулся великан Антонио. — Повстанцы ведут подвижный образ жизни. Неужели ты об этом не подумал?

— Я все время был в тылу. И я не знал, что вы так далеко продвинулись.

Антонио почесал затылок.

— Пойдем, пусть сам Фидель рассудит тебя, — решил он наконец, не зная, как ему поступить с маленьким адъютантом командующего.

Великан шагал впереди, Хосе за ним. Они услышали голос командующего издали.

Антонио и Хосе подошли ближе и молча остановились. Когда говорил Фидель, его никто не перебивал, даже Антонио.

— Демократия без хлеба — не демократия, — говорил Фидель. — Демократия без книг и без учителей — не демократия.

И только тут, воспользовавшись паузой, Антонио доложил о том, как и для чего Хосе задумал увести машину из-под носа повстанцев.

— Это так, Хосе? — спросил Фидель.

— Да, мой командир, — еле слышно ответил мальчик.

— Все, что сказали про тебя, правда?

— Да, мой командир.

Только сейчас Хосе разглядел, что вокруг Фиделя собралось много народу.

— Никто не имеет права оставить штаб без моего или начальника штаба разрешения, — глухо сказал командующий. — Разве я приказывал тебе достать машину? Подумал ли ты о том, что мог без всякой нужды погибнуть? Или попасть в плен?

Наступила тишина, все затаили дыхание.

— Какая судьба постигнет восстание, если каждый будет поступать так, как ему заблагорассудится?

Молчала ночь. И молчал Хосе.

— Какое бы наказание ты, Хосе, придумал мне, если бы я совершил этот проступок?

Не дождавшись ответа, Фидель промолвил:

— Вижу, что ты еще не готов к тому, чтобы служить в моем штабе... Я понимаю, стать повстанцем нелегко. Вот почему я отсылаю тебя в школу. Там воспитают из тебя настоящего солдата революции.

И, обращаясь к людям, Фидель заключил:

— Апостол Хосе Марти учит нас: «Самым счастливым будет тот народ, которой лучше всех обучит своих детей, сумеет обогатить их мысль и укажет направление их чувствам».

Хосе еще не знал, что в его стране апостолами называют поэтов. Конечно, только настоящих поэтов.

Горная школа

«Сам Фидель ни за что бы не отослал меня от себя, — думал Хосе, ворочаясь на жесткой постели. — Это она, Челия, подговорила упрятать меня в школу. Все из-за нее... Если бы ее не было в отряде или, допустим, она знала бы свое женское дело и не совалась

туда, где воюют, то, само собой разумеется, на передовую вместе с команданте попал бы я, а не она... И вообще мы с Фиделем не расставались бы, как и подобает настоящим друзьям...»

Он третью ночь живет в интернате, созданном для детей повстанцев.

Раньше это складское помещение принадлежало янки. В первые дни восстания Фидель устроил в нем госпиталь. Теперь на больничных койках спят маленькие повстанцы.

Соседом у Хосе по койке — негритенок Минго. Суровый и непоколебимый, он, кажется, совсем не умеет смеяться, честное слово. Никто не видел его улыбки. В самую веселую минуту, когда мальчишки умирают от смеха. Минго позволяет себе произнести одно-единственное слово:

— Каррамба!

Весельчак Мигель, лучший вратарь школьной команды, храпит, разинув свой большой рот. Временами он вскрикивает и судорожно тянется руками. «Ха, он и во сне ловит мяч!» — думает Хосе, глядя на него.

Когда лежишь, подперев голову руками, то хорошо видишь и Луиса; он здорово подражает голосам птиц.

«Пусть себе спят, — думает Хосе и, встав, осторожно пробирается к выходу. — А я пройдусь... Все равно сон не идет».

Он долго вслушивается в ночь: не слышно ли выстрела? Ничего не поделаешь, такая привычка вырабатывается у каждого повстанца.

В соседней хижине живет учитель Армандо. Хосе осторожно заглядывает в его окно: компаньеро Армандо, нацепив на переносицу старые-престарые очки, увлеченно читает и делает какие-то записи. Хосе сгорает

от любопытства: какой толк переписывать книгу, если она всегда под рукой?

Интересная картина висит на стене комнаты. Она раскрашена в густо-синий и ярко-желтый цвета. Точнее говоря, на синем листе, во всю длину его, изображена какая-то желтая рыба. Но у этой рыбы нет ни хвоста, ни головы, ни плавников. Скорее всего не рыба, а кит!

Хосе, стараясь получше разглядеть кита, почти просунул голову в окно.

— Опять ты? — не удивляясь, спросил учитель. — Если хочешь, входи, Хосе.

Мальчик не стал раздумывать.

— Почему бодрствуешь? — компаньеро Армандо посмотрел на него. — В твоем возрасте бессонницей не страдают.

— Хочу обратно к Фиделю, — ответил Хосе. — Тут не место мне!

Учитель никогда никого не бранил; со всеми он разговаривал так, будто перед ним настоящие мужчины.

— Не всегда человеку удается быть там, где ему хочется, — заговорил компаньеро Армандо. — И не всегда удается заняться тем, к чему душа лежит. Ты, Хосе, не думай, что я очень уж стремился стать учителем. Революция заставила... Ты, как я замечаю, третью ночь дежуришь возле моего окна. А тебе ни разу не пришла в голову мысль, почему я занимаюсь по ночам? Объясню: знаний мне хватает только на один учебный день — вот как мало я знаю! Откуда взять большие знания простому гуахиро?

Мальчик не знал, поддерживать разговор или молчать. Может быть, лучше уйти и не мешать учителю заниматься?

— Если ты, Хосе, не возражаешь, то оставайся у меня. Будем заниматься вдвоем. А если захочется спать, устраивайся прямо тут же. Согласен?

— Согласен, компаньеро Армандо.

Хосе хотелось расспросить учителя про желтую рыбу на синем листе.

— Я хотел бы знать, почему тут нарисован кит?

— Неужели тебе ни разу не приходилось видеть на карте свою Кубу? — удивился учитель. — Поэты, например, сравнивают ее не с китом, а с жемчужным ожерельем на Карибском море.

Куба, конечно, не кит, что и говорить! Она жемчужное ожерелье. Хосе с этим согласен, хотя ему никогда не пришло бы в голову такое сравнение. Честно говоря, он плохо себе представляет, что такое жемчужное ожерелье, потому что не видел его ни разу.

Утром учитель занимался с мальчишками, а вечером обучал взрослых гуахиро. Хосе не отходил от него, если не был занят на кухне или в поле: ведь все ученики сами зарабатывали себе на жизнь.

Однажды пропал Минго. Естественно, всем пришлось его искать: мало ли какое несчастье могло случиться с малышом!

Искали где только можно: облазили все овраги и ущелья. Хосе с Мигелем вскарабкались даже на самую высокую вершину, обследовали каждую расщелину. Все сбились с ног, но Минго нигде не было.

Только к исходу второго дня Минго появился. Перед самым отбоем он вошел в столовую и молча уселся на свое обычное место. И всем стало ясно, что он страшно устал и здорово проголодался. Он был таким, как всегда, и чуточку уже не таким... Сейчас на его

голове красовался большой старый берет. Наверно, отцовский.

— Где ты пропадал? — спросил его Мигель.

Минго продолжал есть, не отвечая. Он молчал и тогда, когда его начал расспрашивать компаньеро Армандо. Минго, если не хотел говорить, мог молчать хоть целый месяц!

Дня через три или четыре после этого события Хосе пригласил своего друга на прогулку.

— Я хочу подняться на Большой камень, — сказал он. — Оттуда хорошо просматривается дорога в штаб Фиделя. По ней я пришел сюда. Хочешь пойти со мною?

Минго согласился.

Стоял прекрасный день, ясный и теплый, но не знойный. Мальчишки начали карабкаться на гору.

— Ты, Минго, деревянный! — вдруг серьезно проговорил Хосе.

— Почему я деревянный? — насторожился Минго.

— Потому что только дерево умеет молчать, как ты!

Минго понравилось такое сравнение.

— Каррамба! — вскричал он. — Я деревянный. Я знаю, чуякама — самое твердое дерево в мире.

Они поднимались все выше и выше, пока не добрались до небольшой площадки, сплошь заросшей кустарниками. Хижины давным-давно скрылись из их глаз.

— Ты, Минго, каменный, — сказал Хосе, кладя руку на плечо своего спутника.

— Почему же я каменный?

— Ты когда-нибудь слышал, чтобы камни говорили?

— Нет, не слышал. Значит, я каменный! — гордо заявил тот.

На вершине горы они стояли долго.

Внизу, в долине, лежал зеленый лесок, а по склону поднимались сосны; они добирались почти до самого хребта.

— Слушай, Минго, — снова заговорил Хосе. — Я так думаю: ты железный!

— Да, я знаю, что железный! — уже совсем возгордился Минго.

Но Хосе перебил его, неожиданно заявив:

— Если хочешь знать, я ведь тоже железный!

— Каррамба! — простонал Минго. — Я железный, это я понимаю, а вот почему ты железный?

— Потому, — сказал Хосе очень серьезно, — что я знаю, но молчу о том, куда ты убегал и почему вернулся.

Минго побледнел и часто-часто замигал глазами.

— А ну-ка скажи, где я был? А ну!

— Ты уходил домой, но отец вернул тебя обратно. Что, правда?

Хосе, разумеется, ничего не знал, но как только увидел на голове Минго старый отцовский берет, то сразу сообразил: друг его побывал дома.

Минго, потеряв свой боевой задор, сказал:

— Каррамба! Ты прав.

И, решившись открыться до конца, добавил:

— Отец не пустил меня на порог. Не разрешил даже переночевать, хотя было поздно. Он сказал: «Ты, Минго, предал революцию!» Вот что он сказал мне. И это из-за того, что я бросил школу. Он у меня гордый и храбрый! А я не захотел предавать революцию и вернулся.

Они стояли на самой вершине горы, там, где веют самые чистые ветры.

— Я так и думал, что ты верный человек, — проговорил Хосе. — И я сделаю тебя своим адъютантом. Ладно? Ты станешь адъютантом адъютанта!

— Каррамба! — ответил Минго. — Конечно же я буду твоим адъютантом, потому что ты, как и я, железный. Мы оба железные...

Адъютанты не умирают

— «Я студентка первого года обучения, — не торопясь, с расстановкой читает чье-то письмо компаньеро Армандо. — Я очень восхищаюсь Фиделем и революцией. Мне кажется, что, воспользовавшись карандашом Фиделя, я смогу заимствовать ясный ум Фиделя, и это мне поможет успешно сдать экзамены. Фидель, пришли мне, пожалуйста, свой карандаш!»

«Вон чего захотела! — усмехнулся Хосе. — Как бы не так! Почему какая-то девчонка, а не я, адъютант, выпрашиваю карандаш у Фиделя?»

Ему стало грустно. Уже более двух месяцев прошло с тех пор, как Хосе стал самым обыкновенным учеником. Но он не переставал думать о своих боевых товарищах. Перед его взором вереницей проходят люди. Вот он видит перед собою растянувшегося от стены до стены деда своего, Хосе Педро Фернандо, вспоминает его слова: «Каждый дед оставляет своему внуку наследство. Кто какое может. Я тоже оставляю тебе наследство — доброе имя гуахиро Хосе. А это — стоящее имя».

На новом плакате Хосе прочел: «Ребенок, который не учится, не может быть хорошим революционером!» Так сказал Фидель Кастро.

Хосе вслушивается в слова компаньеро Армандо.

Прочтя письмо школьников Фиделю Кастро, учитель громко произнес:

— Венсеремос! Мы победим!

И все ученики дружно воскликнули вслед за ним:

— Венсеремос!

Хосе тоже подхватил это слово.

В эту самую минуту в класс, чуть прихрамывая, вошел посторонний человек. Все мальчишки, словно по команде, уставились на него. Всех поразили лохматые брови этого человека.

— Дед! — вдруг закричал Мигель и вприпрыжку бросился ему навстречу. — Что с тобою случилось? Тебя поранили, да?

Дед, погладив внука по голове, глухо заявил:

— Э, да что там со мною! Беда приключилась с нашим Фиделем. Он вместе со всеми своими людьми попал в окружение...

Хосе вскочил и прямо с места громко крикнул бровастому гуахиро:

— Неправда! Никто не может окружить Фиделя!

Старый гуахиро ласково произнес:

— Я тоже так думал... Но то, что я говорю, правда!

С этой минуты Хосе не знал, куда себя девать: то бежал к учителю, что-то собираясь ему сказать, то, обхватив руками колени, сидел на земле, устремив глаза на далекие вершины. Минго — верный адъютант Хосе — неотлучно был с ним.

— Так я и знал, — промычал Хосе, яростно потрясая кулаками.

Минго не стал допытываться, кому грозится Хосе: это не дело — совать свой нос, когда тебя не просят. Минго отлично знал свои обязанности.

— Надо спасать Фиделя! — твердо заявил Хосе. Видимо, он принял важное решение.

— Надо спасать, — согласился Минго, набираясь мужества.

— Слушай, Минго! — взволнованно прошептал Хосе. — Ты готов выступить в поход сегодня же ночью? Говори честно, это очень важно.

— Каррамба! — вскричал Минго. — Куда ты, туда и я. Идем спасать Фиделя!

— Тише!.. — Хосе скосил глаза в сторону. — Нас могут услышать.

В глубокой тайне они начали собираться в поход. Самым трудным делом оказалось достать оружие. Оно было только у компаньеро Армандо, и ребятам волей-неволей пришлось ждать часа, когда учитель уйдет в школу обучать взрослых гуахиро.

— Ты погоди, я один проберусь в дом, — сказал Хосе, когда учитель покинул свою хижину.

Вскоре он вернулся с карабином в руках.

— Пойдем, Минго!

— Что с тобой? — забеспокоился Хосе. — Или ты передумал идти?

— Ты, Хосе, должен написать, кто взял карабин. Пусть не думают, что мы выкрали оружие, как воры.

Минго — упрямый малыш. С ним нельзя не считаться. К тому же он дело говорит.

Вернувшись в дом учителя, Хосе печатными буквами старательно написал на дверях: «Твой карабин взял Хосе».

Довольный своим поступком, он поспешно вернулся к Минго.

— А ну, пошли!

Минго во все глаза смотрел на Хосе.

— А ты написал, для чего взял оружие?

— Нет. Еще что придумаешь!

— Пусть компаньеро Армандо знает, для чего мы взяли оружие. Мы взяли его ради революции. Пока ты это не напишешь, я не пойду.

— Ну и придира же ты!

Хосе исполнил и эту просьбу своего маленького сурового друга.

Теперь, уже не терзаясь никакими сомнениями, они под покровом ночи направились по узкой каменистой дороге на запад, к штабу повстанцев, который Хосе оставил два месяца назад.

В полной темноте мальчишки начали спуск в ущелье. Чего тут скрывать, им было страшно. На каждом шагу их подстерегала опасность. И они знали об этом хорошо.

За ущельем начинался подъем. Мальчики шли молча, как и подобает мужчинам.

Все время под ногами белела дорожка. И вдруг она пропала. Поплутали, поплутали — и остановились.

— Вздремнем до утра, а там — дальше! — предложил Хосе, желая подбодрить своего спутника.

Ночью в горах пробирает дрожь, поэтому они легли рядом.

Как только ночь отступила, мальчики без труда отыскали дорогу.

— Я тебя научу песне, — торопливо говорил Хосе, побаиваясь, что малыш Минго не выдержит испытания. — Хочешь, научу?

Минго кивнул головой.

Я не боюсь тебя, седой океан!
Ведь в руках у меня карабин...

Песня о седом океане стала их спутницей. С нею стало чуть веселее. И ногам идти легче Это знает каждый, кто привык шагать с песней.

Часа через три, когда солнце начало припекать, мальчишки почувствовали жажду. Никогда им не хотелось так пить, как в это утро! А Хосе не пришло в голову запастись водою.

Хосе испугался за своего адъютанта: если заупрямится, с ним ничего не поделаешь. Он может решительно повернуть обратно. С него спроса мало: что ни говори — малыш!

— Я еще не успел сочинить до конца песню про адъютанта, — торопливо заговорил Хосе. — Но думаю, что сочиню ее — песню о том, что адъютанты не предают, о том, что адъютанты не умирают...

— Каррамба! — воскликнул Минго. — Хорошая песня.

Прошел еще час, а может, и два. Наступила такая минута, когда Минго израсходовал последний запас своих сил.

— Скоро дойдем? — спросил он жалобно. — Я устал.

— Скоро, скоро, — начал успокаивать его Хосе. — Вот как только перевалим через эту самую высокую вершину, сразу увидим штаб повстанцев. Я хорошо помню...

«Даже в ту ночь, когда меня сопровождал один из барбудос, Антонио, дорога не казалась такой утомительной, — думал Хосе. — Только бы Минго не заупрямился».

Минго уже с трудом тащился за своим другом. Если бы он не боялся показаться перед ним слабым, то давно бы сдался. Он еле-еле держался на ногах, так он устал!

Неожиданно где-то сбоку застрекотал автомат. Потом второй, третий... И сразу же ответили оттуда, с

вершины. Началась страшная пальба. Мальчишки еще никогда не слышали подобного грохота.

Пальба прекратилась так же внезапно, как и началась. Мертвая тишина установилась в горах.

Чуточку переждав, Минго рискнул приподнять голову. Хосе лежал впереди, шагах в пяти-шести. Недолго думая, Минго пополз к нему.

— Жив, Хосе? — спросил он.

— Жив. А ты?

— Я тоже целехонький... Сначала так испугался, и сказать не могу.

Возбужденный Минго не сразу обратил внимание на то, что Хосе лежит бледный и тяжело переводит дыхание.

— Ой! — закричал он, увидев кровь, просочившуюся сквозь гимнастерку Хосе. — Тебя поранили?

— Пустяки, — попытался улыбнуться Хосе. — Слушай, Минго! Ты не бойся, ладно? Если придется меня оставить тут, ты переваливай через гору. Понял? И скажи Фиделю: Хосе чуточку не дошел. Ладно?

— И он придет за тобою?

— Обязательно придет.

Хосе стоило большого труда говорить, Минго это видел.

— Не забудь сказать Фиделю, что мы шли его спасать!

— Нет, не забуду.

— И пусть Челия тоже знает об этом, она неплохая женщина...

Минго показалось, что Хосе прощается с ним.

— Ты, Хосе, не прощайся со мною! — вскричал он.

— Глупый ты! Разве я собираюсь прощаться? Как только будет чуточку легче, я встану. Вот увидишь!

Грохот выстрелов заставил их замолчать. Стреляли и с вершины и снизу, из долины. Иные пули, устав в дороге, с шипеньем и писком ложились возле мальчишек. Минго отполз назад, в небольшое углубление.

— Хосе! — закричал он истошным голосом.

Ответа не было.

Забыв об опасности, Минго метнулся к другу.

Хосе лежал смирно, точно спал глубоким и спокойным сном. Но его глаза были открыты и смотрели прямо на солнце, не мигая.

— Хосе! — повторил Минго, схватив холодные руки товарища. — Умер! — сказал он, не в силах остановить слезы, и с упреком добавил: — Как же так! Адъютанты же не умирают!

По-прежнему стреляли со всех сторон. Но теперь Минго было наплевать на пули. Он сидел рядом со своим другом и, глотая слезы, пел:

Я не боюсь тебя, седой океан,
Ведь в руках у меня карабин...

Очнулся он, когда услышал, что к нему с гор спускаются бородачи.

Впереди крупно шагал великан с расстегнутым воротом и в зашнурованных ботинках. Он беретом вытирал пот, выступивший на лице и на красной от загара шее. Вслед за ним бежала женщина.

Она заметила лежащего на земле маленького повстанца.

— Хосе! — вскрикнула она, подбегая.

Тот, который шел впереди, остановился возле Минго. Увидев распростертого на земле Хосе, он опустился на колени и поцеловал его. Потом, бережно подняв Хосе на вытянутых руках, молча понес его дальше.

Женщина опомнилась и вытянула руки, будто тоже несла Хосе... И все бородачи, которые шли за ними, поступили точно так же, словно не один, а много Хосе было на земле, и они несли их.

Минго умел считать только до тридцати. Он насчитал тридцать бойцов, а они все спускались и спускались с гор. Вот он уже насчитал тридцать раз по тридцать. А им будто и нет конца.

Вспомнив, что Хосе умер, Минго заревел во весь голос. Тогда один из бородачей бросился к нему, хотел взять его на руки.

Мальчик заупрямился, не позволил себя поднять. Он крепко уцепился за брюки бородача и пошел рядом, стараясь шагать в ногу с ним.

Так они и шли: впереди Фидель, неся на руках своего маленького адъютанта, а за ним тысяча сильных и верных бородачей и среди них — Минго.

Они спускались в долину.

ОБ АВТОРЕ

«Дорога пыльная. Дорога дальняя. И трудная. По ней идет маленький человечек. Я не знаю точно, сколько ему лет. Может быть, десять, а может быть, и все двенадцать.

Мальчишка как мальчишка...

А впереди — там, где синеют горизонты, где дымят трубы, где ворчат тракторы, — жизнь. Маленький человечек пока не знает, что его ждет в той дали...

— Здравствуй, неунывающее племя!

Будет мужской разговор».

В этом лирическом отступлении из романа, который вы держите в руках, много автобиографического: большие дороги жизни рано повели Бикчентаева.

Он написал свою первую книгу — сборник очерков «Красные маки» — тогда, когда распечатал уже свой четвертый десяток.

До этого были дороги.

По окончании педагогического техникума в Оренбурге Бикчентаев учительствовал на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке. Дети рыбаков и охотников, лесорубов и золотоискателей были его первыми учениками. Может быть, где-то здесь и проклюнулся тот хрустальный род-

ничок романтики, чистая и звонкая струя которого стала впоследствии одной из главных составных бикчентаевской прозы?

Полузабытые, давние факты писательских биографий... О них не пишут, их не берут в расчет... А как неотразимо, как могуче сказываются они на книгах! Ну вот, казалось бы, что особенного: будущий писатель вместе с шестью товарищами совершил на лодках путешествие из Уфы в Москву. Белая, Кама, Волга... Большую часть пути ребята плыли против течения. Понатерпелись. Мозолей понатирали... Сейчас говорят: индийские впечатления навеяли Бикчентаеву ту повесть, поездка на юг Башкирии — эту... А ведь были еще те, мальчишеские, неписательские дороги, которые ковали характер писателя, были незабвенные дороги юности и молодости.

Вся Отечественная, как есть вся, от первого до последнего дня, — за его солдатскими плечами. Принял на себя первые удары фашистов. Организовал в тылу врага отряд из разрозненных групп и вывел его к своим. Получил первый, самый дорогой орден — Боевого Красного Знамени — еще тот, прямо к гимнастерке привинчивающийся. Первое заграничное путешествие совершил в звании советского офицера.

И вот деталь писательской биографии: рукопись первой своей книги Бикчентаев сдал в издательство в один из краткосрочных приездов в Уфу. С фронта, с передовой. Сдал рукопись — и обратно на фронт: шел еще только 1944-й. Ни корректуры не читал, ни авторских экземпляров не получил. Встретился со своим первенцем только после войны.

Дороги подарили писателю много книг. После сборников рассказов вышло в 1950 году первое крупное произведение Бикчентаева — повесть о жизни, смерти и бессмертии земляка-уфимца Александра Матросова.

Когда появилась повесть «Большой оркестр», стало ясно, что в литературу пришел интересный, самобытный писатель. Книгу перевели на полтора десятка языков, издали огромными тиражами в самых разных уголках страны.

Однажды, когда я писал предисловие к «Большому оркестру», я сделал для себя интересное открытие. Оказалось, что я прекрасно знаю тот двор, о ребятах которого написана книга. Это был двор, на который выходили окна редакции, где я потом работал.

После этого «открытия» я просмотрел заново роман «Лебеди остаются на Урале», повести «Дочь посла» и «Адъютанты не умирают», сборник рассказов «Бакенщики не плачут» и увидел, что все эти во многом романтические истории накрепко привязаны к определенному месту. Хорошо сказались неписательские дороги на книгах маститого писателя!

Большинство произведений Бикчентаева написано по горячим следам событий. Но это не однодневки, в них владычествует не злободневность, а современность с ее годами строительства коммунизма, с ее большой химией, которая наравне с большой нефтью стала судьбой башкирского народа, с ее героической борьбой народов против империализма, с ее подрастающим поколением, которое на наших глазах становится хозяином Земли.

Молодые герои Бикчентаева размышляют о жизни настойчиво и много. Он ведет их не по торным тропкам, а заставляет решать тысячи сложных вопросов. В этом смысле произведения Бикчентаева очень современны, они в главной струе того литературного процесса, совершающегося особенно рельефно и плодотворно после XX съезда партии, который характеризуется повышенным вниманием к душевному миру человека.

И еще одна деталь, которая объединяет книги Бикчентаева с главной струей современного литературного процесса и которая нелегко давалась башкирской прозе, отягощенной тяжеловесными канонами восточной словесности, — это динамичность. Динамичность во всем: в развертывании сюжета, в построении фразы, в лаконизме характеристик и диалогов.

Эти и другие качества помогли создать особый — бикчентаевский мир. Со своими размерами, запахами, цветом. Его не

спутаешь с другими литературными мирами, образующими галактику современной советской литературы.

Дорога пыльная. Дорога дальняя. И трудная. По ней идет человек.

Этот человек — человек середины двадцатого века — основное действующее лицо в произведениях Бикчентаева. Он принимает разные образы: Александра Матросова, молодого нефтяника Бурана и старика Шаймурата, седовласой учительницы и юноши Хайдара, но главное в нем остается неизменным: это сын или дочь своего времени, своего класса, влюбленные в свое доброе дело, ищущие и отстаивающие правду, борющиеся против зла, равнодушия и лености.

Такая дорога.

Она бежит дальше.

Верный своему правилу все узнать, пощупать руками самому, прежде чем рассказать об этом другим, с завидной легкостью Бикчентаев отправляется все в новые путешествия за книгами. Чтобы прочувствовать всей, да простится мне это выражение, писательской шкурой жизнь своих будущих героев, писатель прожил год в молодом городе башкирских нефтехимиков Салавате. Там он выпускал боевые листки и «молнии», выступал с докладами, переживал все перипетии предпусковых дней на новых химических объектах, разрешал семейные и прочие конфликты своих новых друзей и, конечно, завязал большую дружбу с салаватской ребятней, стал одним из авторов (нет, не книги, книга будет попозже) большого движения городской пионерии. А говорят, писательская работа «непыльная»...

Путешествие продолжается. Все привычно, и все внове.

Дорога пыльная. Дорога дальняя. И трудная.

По ней идет человек.

Рамиль Хакимов

Содержание

Бикчентаев Анвер Гадиевич

Я НЕ СУЛЮ ТЕБЕ РАЯ

Редактор
А. П. Филиппов
Художеств. редактор
В. Д. Дианов
Технический редактор
Г. К. Щуровская
Корректоры *С. И. Елагина*
и *Л. П. Тихонова*

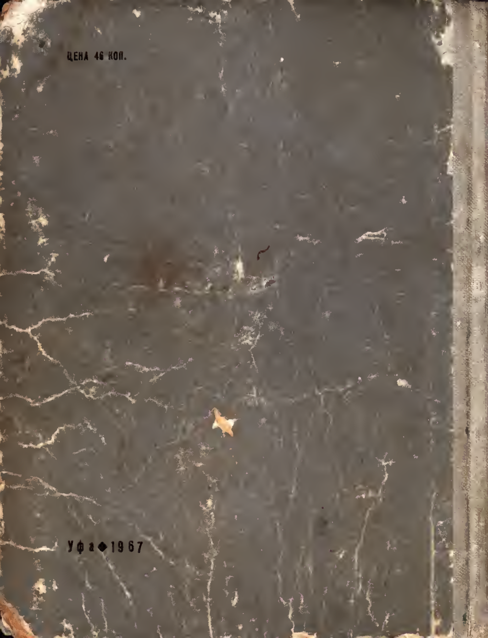
Сдано в набор 9/X 1966 г. Подписано к печати 13/II 1967 г. Формат $70 \times 108^1/_{32}$. Физ. печ. л. 9,125. Условн. печ. л. 12,775. Уч.-изд. л. 12.2. Тираж 100 000 экз. Изд. № 127. Заказ № 768. Цена 46 коп. Бумага тип. № 2.

Башкирское книжное издательство Управления по печати при Совете Министров БАССР, г. Уфа, улица Советская, 18.

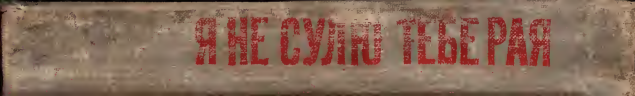
Уфимский полиграфкомбинат Управления по печати при Совете Министров БАССР, г. Уфа, проспект Октября, 2.







ЦЕНА 46 КОП.
Уфа 1967


Я НЕ СУЛЮ ТЕБЕ РАЯ